

ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА И. А. ГОНЧАРОВА ИЗ КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ

Публикация и комментарии Б. Энгельгардта

«ФРЕГАТ ПАЛЛАДА».

Если в первых критических статьях о «Фрегате Палладе» (Дружинин, Дудышкин, Кеневич) гончаровские очерки кругосветного путешествия трактовались еще как литературное произведение: обсуждался их художественный замысел и тематика, их стиль, ставились вопросы о путешествии как особом литературном жанре, делались попытки определить их место среди различных литературных направлений — романтического, реалистического и т. д., — то уже с конца 60-х годов все это было забыто, и на книгу установился твердый взгляд как на простое описание дальнего плавания, содержание которого определялось, с одной стороны, культурными интересами автора, а с другой, объективными данными, так сказать, географического порядка.

Книга была занесена в разряд географических сочинений, особо полезных и рекомендуемых для юношества, а критик и историк литературы снимали ее с школьных полок лишь для того, чтобы воспользоваться ею как биографическим источником.

Удивлялись точности отдельных описаний, отдавали должное отдельным картинам тропической природы, но еще более говорили об убожестве гончаровского мировоззрения, о тривиальности его вкусов и т. д., и т. д.

Книга, строго говоря, была забыта. Она перестала ощущаться как литературное произведение. А между тем она, конечно, представляет собою замечательное явление именно в области художественной литературы. Она занимает свое особое место в истории жанра путешествий, где очень трудно подыскать к ней какую-нибудь аналогию во всей европейской литературе, — и в развитии русской реалистической школы, являясь блестящим и тонким памфлетом против романтических традиций в описаниях природы и пресловутого романтического *couleur locale*. И, наконец, что, пожалуй, всего существеннее, — она играет значительнейшую роль в системе гончаровского творчества. Без преувеличения можно сказать, что «Фрегат Паллада» является таким произведением, где, с одной стороны, нашла законченное и яркое выражение вся тематика его творений, начиная с фельетонов «Современника» и кончая «Обрывом», а с другой, отразились с большой отчетливостью те художественные приемы и стилистические особенности, которые характерны для Гончарова. В этом смысле «Фрегат Паллада» подводит нас к более углубленному пониманию главного труда его жизни — его трех романов.

Гончаров называет свою книгу «правдивым до добродушия рассказом» о путешествии; он неоднократно и настойчиво подчеркивает свою роль простого и немудрящего повествователя событий и фактов похода, он хочет, чтобы его книга рассматривалась как добросовестный отчет об экспедиции. Но историк литературы не только не обязан верить ему на слово, но, напротив, самая настойчивость автора должна заставить его насторожиться и заподозрить правдивость и искренность этих утверждений. Проверка же эта возможна только путем восстановления

подлинной истории экспедиции на основе официальных документов, дневников, писем, статей других участников экспедиции. Только противопоставив точные проверенные события и факты их литературному изображению у «певца», хотя бы и ex officio» похода, можно убедиться, насколько прав Гончаров, толкуя о своей точности, и правильно поставить вопрос о «литературном материале» очерков. Это первая задача исследователя, из которой, естественно, вытекает следующая.

В самом деле: если бы оказалось, что правдивое повествование значительно расходится с действительностью, тогда необходимо было бы выяснить, чем именно обусловлено это расхождение, т. е. какие художественные замыслы положены в основу произведения, какие тематические и стилистические задания ставил себе писатель, когда он не просто давал отчет о кругосветном плавании, а уже сознательно использовал факты путешествия как материал для художественного произведения. Указаний на эти особые художественные задания следует искать, конечно, как в самом произведении, так и около него: в тех частных и личных записях, письмах и других материалах, которые сохранились в литературно-биографическом наследстве писателя.

Но вскрытые таким путем особые литературные задания, лежащие в основе данного произведения, необходимо сопоставить с тематическими и стилистическими заданиями других произведений этого писателя. Только при помощи такого сопоставления можно установить место этого произведения в художественном творчестве писателя в целом и выяснить его внутренний смысл и значение.

Именно таким путем и идет предлагаемое исследование. Оно начинается изложением подлинной истории Путятинской экспедиции, как ее можно восстановить на основе различных официальных документов, писем и дневников ее участников и других источников. В дальнейшем полученные выводы сопоставляются с показаниями частных писем Гончарова из плавания и делается попытка при помощи сравнительного анализа тематики стилистических заданий «Фрегата Паллады» и трилогии определить смысл и значение этого произведения в истории гончаровского творчества.

I

Когда в конце 50-х годов появились, наконец, гончаровские очерки плавания на фрегате «Паллада», они вызвали среди кронштадтских моряков, хорошо знавших подробности экспедиции из уст ее участников, чувство неопределенного разочарования, недоумения и даже обиды. Им, осведомленным из первых рук о всех событиях героического похода, трудно было помириться с изображением его в виде какой-то увеселительной прогулки по трем океанам. Впрочем, для того, чтобы почувствовать, что в гончаровских очерках не все ладно в смысле их соответствия действительному ходу событий путешествия, не надо было ни быть моряком, ни обладать особой осведомленностью. Довольно было иметь хоть некоторое представление об условиях и обстановке кругосветного плавания на парусном судне, чтобы сразу заподозрить правдивость его повествования и признать необходимым произвести сравнение гончаровских очерков с действительной историей экспедиции, как она рисуется на основании разнообразных показаний участников и официальных документов ¹.

Уже в частных письмах Гончарова, особенно первой половины плавания (да и в самых очерках), мы находим целый ряд жалоб и причитаний насчет различных тягостей путешествия. Выраженные по большей части в шуточной форме и притом с нарочитой подчеркнутостью исключительной избалованности автора, они теряют всякую остроту и очень часто звучат как забавные признания изнеженно-го барина. Однако не нужно было быть ни неженкой, ни барином, чтобы жаловаться на суровость экспедиционной обстановки. Кругосветное путешествие на парусном судне было тяжелым испытанием не только для непривычного штатского, но и для моряка-профессионала. Тесные и темные помещения, скученность населения, духота, вечная сырость, подчас плохое питание и скверная вода (на

«Палладе» в Англии поставили опреснитель, но он почти не действовал)—все это при бесконечно длительных переходах создавало благоприятную почву для развития различных болезней: чахотки, гнилой горячки (тифа), лихорадок и в особенности цынги (не избежала ее и «Паллада» под конец своего плавания). А рядом с этим тяжелый труд, изнурительная авральная работа и днем и ночью, вечное «настороже», свирепая дисциплина, вызванная необходимостью быть всегда готовыми к отражению опасности, и пр., и пр. Мы отнюдь не огущаем красок: «изнурительные труды и лишения»—это выражение очень часто встречается в официальных бумагах того времени. Дальнее плавание было тогда «военным походом» и «длительной экспедицией», соединяя в себе тягость военного режима с лишениями и случайностями экспедиционного быта.

Но на «Палладе» все эти неблагоприятные условия плавания усугублялись еще целым рядом привходящих обстоятельств, среди которых, в первую очередь, нужно отметить: крайне плохое состояние судна, сборную, мало обученную команду и, наконец,—для второй половины плавания—тревоги военного времени.

Построенная в 1831—1832 гг. и тимберованная в 1841 г. «Паллада»² в 1852 г., строго говоря, уже не годилась для кругосветного плавания по своей «дряхлости и ненадежности».

Так как команда «Паллады» состояла из чинов гвардейского экипажа, то ее ни в каком случае нельзя было целиком отправить в дальнее плавание. Приходилось, списав старый состав с судна, формировать его заново за счет других балтийских экипажей, а сделать это вполне успешно в такой короткий срок (по заданию «Паллада» должна была открыть кампанию в середине августа, а приготовления к походу начались только в конце июня) было почти невозможно.

Некоторые партии матросов прибыли на фрегат чуть ли не накануне отплытия. Они не знали друг друга и своих унтер-офицеров; не успели осмотреться и обжиться на фрегате, привыкнуть к требованиям новых начальников; приемы и манеры управления судном, особые у каждого командира, были им незнакомы. Все это не сулило вперед ничего хорошего.

К тому же Балтийское море встретило моряков крайне неприветливо. «Нынешняя осень,—писал один из участников экспедиции,—прозно прошлась по нашему северу. При выходе из Зунда мы видели на шведском берегу четыре купеческие судна, лежащие на боку, пробитые и выброшенные бурей. По ночам была слышна отдаленная пальба, возвещавшая о затруднительном положении и гибели купеческих судов. Сердце сжималось при мысли, что нельзя помочь тем, которых жалобы столь ясно доходили до нас. В Немецком море нашлись два корпуса без мачт; мы направились к первому на случай, что найдем кого-либо в живых, спустили шлюпку, подъехали, обежали каюты, осмотрели трюм—ни души. Судно держалось на воде только потому, что было нагружено досками. Грустно зрелище такого разрушения»³.

Вот при каких условиях дряхлому судну и неопытной команде пришлось начать кампанию⁴. Не мудрено, что всякого рода зловключения посыпались на него с первых же моментов плавания.

Начались бесконечные поломки рангоута и порча парусов. Плохо обученная команда скверно справлялась с маневрированием, и чуть ли не каждый день случались различные неприятности. Порывистый, постоянно отходивший ветер изрядно трепал заслуженное судно, а вечная «пасмурность и туман по горизонту» чрезвычайно затрудняли и без того опасное в осеннюю пору плавание по Балтике и Северному морю. От качки на фрегате зачастую показывалась течь; помпы постоянно работали, но вода в трюме стояла довольно высоко; в жилых палубах было сыро и холодно.

Среди команды начались заболевания. Как ни береглись, но успели захватить заразу в Кронштадте, и до выхода из проливов похоронили одного за другим троих матросов. Кроме холеры на «Палладе» появилась и гнилая горячка, от которой умерло еще двое людей. Лазарет не пустел; настроение было подавленное, и команда выбивалась из сил.

В довершение всего с фрегатом едва не произошло большое несчастье: 12 октября в пасмурную и туманную погоду при самом тихом ветре «Паллада», входя в Зунд, приткнулась к мели.

Последствием посадки фрегата на мель явилась необходимость введения его в док в Портсмуте, куда он добрался лишь 12 ноября, задержанный в Немецком море свирепыми противными ветрами. А между тем для такого старого судна, каким была «Паллада», новая постановка на подпорах в сухом доке грозила еще большим расшатыванием всех креплений корпуса судна. Излагая все эти соображения в донесении морскому министерству, Путятин прибавлял, что и вообще ремонт потребует капитальный, так как судно плохо сопротивляется невзгодам плавания. Это была первая из тех бесчисленных жалоб, которыми засыпал Путятин Петербург в течение всего похода.

Как бы там ни было, но «Палладу» разгрузили и ввели в док; портсмутские мастеровые принялись за пересмотр и конопатку ветхого судна: тут, между прочим, выяснились не только размеры повреждений от посадки на мель, но и гнилость многих креплений и балок корпуса. Ремонт действительно вышел капитальный, но, как будет видно ниже, не принес значительной пользы делу, а только затянул пребывание «Паллады» в Портсмуте до декабря месяца, когда начались обычные в это время юго-западные ветры, задержавшие экспедицию в Англии еще на месяц.

В силу этого итти вокруг мыса Горн, как предполагалось ранее, было уже поздно. «Если бы я теперь отправился прежде намеченным путем,—писал Путятин кн. А. А. Меншикову,—то прибыл бы в большие южные широты около весеннего равноденствия, времени, самого неблагоприятного для обхода мыса Горна, между тем как, идучи на восток, те же ветры будут содействовать скорейшему совершению похода. Поэтому я решаюсь отправиться отсюда прямо на мыс Доброй Надежды, а оттуда Зондским проливом войти в Китайское море. Следующим после мыса Доброй Надежды местом пристанища я избираю Манилу, а оттуда отправляюсь к островам Бонин-Сима».

Таким образом из-за бесконечных починок «Паллады» Путятину, еще не покидая Европы, пришлось коренным образом изменить маршрут путешествия. В будущем экспедиции предстояло много подобных сюрпризов.

Оставив 6 января 1853 г. Спитгэдский рейд, «Паллада» 9-го вышла, наконец, в океан. Ветер, хотя и попутный, все время крепчал, разводя огромную волну. «Что за бурное стоит время,—отмечает в своем дневнике один из моряков,—в 6 часов вечера во время моей вахты, начали опять собираться облака; небо помрачилось; мы взяли у парусов все рифы. К полночи ветер, скрепчав, заревел и поднял резкий свист между снастями, зашумели кипящие волны, и по временам раздавался гул от ударов их о борта. Я и раньше видел бурное море в этих же широтах, но такого страшного, опромного волнения, какое теперь было, не видывал никогда»⁶.

Для «Паллады» пришло время показать себя в борьбе с океаном. Но нельзя сказать, чтобы она удачно выдержала это испытание. Во время перехода от Англии до Мадеры,—гласит отчет Путятин:—«качества фрегата оказались весьма неудовлетворительными, что должно приписать излишнему грузу».

Таким образом как для команды, так и для офицеров снова настали черные дни. Фрегат било крупным волнением, и приходилось зорко смотреть, чтобы не случилось какой-нибудь беды. Настроение на «Палладе» опять сделалось тревожным и нервным, и матросы снова выбивались из сил, помогая дряхлому судну в его борьбе с бурным морем. Общее положение отозвалось, конечно, и на Гончарове. К тому же, по должности адмиральского секретаря, он, конечно, не мог не знать всех тревожных подробностей дела. Но любопытно отметить, что, изображая этот переход, он не упоминает ни о каких происшествиях и—главное—строит свой рассказ, как будто все обстояло совершенно благополучно и нормально, как тому следует и быть, а только ему—избалованному горожанину—казалось чем-то необычным. Между тем, как мы только что видели, показания самих моряков говорят совершенно обратное, отмечая, как большую неудовле-

творительность качеств судна, так и исключительный размах волнения. Здесь уже в полной мере обнаруживается та своеобразная манера, в которой поведено все повествование «Очерков» и которая не позволяет рассматривать книгу как правдивое отражение действительности.

Отдохнуть от всех невзгод бурного плавания удалось только в атлантических тропиках. Переход от Мадеры до мыса Доброй Надежды (с 18 января по 10 марта) был действительно благоприятным во всех отношениях, несмотря на то, что за экватором «Палладу» все-таки прихватили штилы. Впрочем с точки зрения удобств и благополучия плавания штилы ни чему не мешали; бояться недостатка в воде и провианте не приходилось: фрегат в изобилии был снабжен самыми необходимыми, и путешественникам оставалось только беззаботно наслаждаться покоем среди океана. Гончаров, повидимому, больше других наслаждался этим «сияющим летом на тихих просторах тропических вод». По крайней мере именно этому переходу да еще, пожалуй, Манилле посвящены наиболее восторженные страницы его книги.

Только в начале марта, после сорокадневного слишком пребывания в море «Паллада» выбралась, наконец, из штилевой полосы: «Опять пошло свое,—замечает по этому поводу Гончаров,—ни ходить, ни сидеть, ни лежать порядком. Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивело мне навсегда. Хотя это продолжалось всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник, 9-го марта».

Проскользнув ночью мимо входа в Falsbay, «Паллада» только на следующий день вошла на Саймонсбейский рейд и бросила якорь на отведенном ей месте. Перед походом через бурный Индийский океан судну необходимо было снова подремонтироваться и привести себя в полный порядок. Поэтому стоянка в Саймонсбее затянулась почти-что на месяц. Часть офицеров была опущена в Капштадт; шестеро под руководством К. Н. Посьета отправились в экскурсию в глубь страны; остальные принялись за судовые починки. «Весь фрегат был снова проконопачен, как снаружи, так и изнутри, пнилые части обшивки были заменены новыми». Рангоут был пересмотрен и исправлен; ванты вытянуты, мачты проверены и все вообще тщательно почищено и окрашено. Казалось, что все было предусмотрено для предстоявшего тревожного плавания, и Путятин надеялся, что судно благополучно выдержит крепкие ветры и сильное волнение, которые можно было ожидать на следующих переходах, тем более, что «и прежде сего на фрегате были сделаны немаловажные исправления в Портсмуте». Однако будущее не оправдало этой надежды: напротив, первое же крупное волнение поставило ребром вопрос о годности «Паллады» к океанскому плаванию вообще.

Покинув 12 апреля гостеприимные берега Капа, «Паллада», отойдя от мыса Доброй Надежды всего на 12 миль, встретила жестокий, противный шторм, который в течение 19 часов выдерживала под одними триселями. «Шторм» был классический по всей форме: с разорванными в сетку облачками, мчавшимися по небу, «с светлостью луны и блистанием молнии, с дождем и громом». «С 8 часов гроза два раза обошла вокруг горизонта». «Волнение шло горами, достигая порой такой высоты (до 45 футов), какой бедное судно еще не видывало. Фрегат ложился то на один, то на другой бок и, несмотря на вторичную, полную конопатку в Саймонсбее, потек всеми палубами и показал весьма значительное движение в надводных частях корпуса»⁶.

Последнее обстоятельство чрезвычайно встревожило командиров. Теперь объяснилась, наконец, подозрительная течь, замеченная еще на переходе из Портсмута до Мадеры. А вместе с тем ставился вопрос не только о плохих качествах фрегата, о чем Путятин доносил морскому начальству и из Англии, и с Мадеры, и с Саймонсбейского рейда, но и о пригодности «Паллады» к дальнейшему плаванию вообще. Приходилось отказываться от намерения идти прямым рейсом на Маниллу: при той ненадежности всех креплений корпуса, которая обнаружилась

во время шторма, «Паллада» могла не выдержать такого длинного перехода и рассыпаться в пути на мелкие куски, так что, по выражению Гончарова, пришлось бы высаживаться среди моря. Все, на что можно было рассчитывать,—это на короткие переходы из порта в порт с бесконечными починками в каждом из них. Мало того, было совершенно ясно, что если до Японии еще можно кое-как доплыти, то для обратного пути и даже для длительного пребывания в тихоокеанских портах «Паллада» совершенно не годилась. Необходимо было подумать о замене ее новым фрегатом, либо же заранее подготовить обратное возвращение экспедиции сухим путем через Сибирь. Само собою понятно, что все это кардинально изменяло картину путешествия и требовало от командующего быстрых и ответственных решений. И Путятин принял эти решения.

Отказавшись от прямого похода на Маниллу, он направился к северу, в Анжер, на Яву, с тем, чтобы остальной путь совершить по линии Анжер—Сингапур—Гонг-Конг—Бонин-Сима, всегда имея под рукой оборудованные порта для необходимых починков. Кроме того, он остановился на мысли спешно отправить в Россию курьера с настойчивой просьбой, как можно скорее выслать на смену «Палладе» другое, более надежное судно. Курьером был избран И. И. Бутаков, старший офицер «Паллады», которому Путятин дал инструкцию всеми силами добиваться отправления в ту же осень из Кронштадта нового фрегата.

17 мая, после месячного перехода, добрались, наконец, до Анжера. Плавание было неблагоприятным, хотя фрегат все время имел попутные ветры. Погода держалась неровная, постоянно налетали шквалы и разводили волнение. Поддавшееся после первого шторма судно не выдерживало крупной зыби: крепления корпуса снова и снова приходили в движение и палубы текли всеми швами. В жилых помещениях постоянно было сыро. С наступлением жары повсюду появилась вредная для здоровья плесень; вода, застоявшаяся в разных укромных уголках, загнивала, заражая воздух. Лазарет снова начал наполняться; появились тропические болезни: вереды, лишаи, легкие формы лихорадки. В этой знойной, душливой атмосфере на ветром, гниющем судне лихорадили и здоровые,—для слабогрудых она была настоящим ядом. Среди матросов открылась чахотка: в Сингапуре и Гонг-Конге пришлось сдавать в госпитали безнадежно больных.

Из Сингапура, куда пришли 25 мая, Бутаков на первом же отходившем пароходе поспешил в Петербург с донесениями и письмами от адмирала к великому князю, в морское министерство, в министерство иностранных дел, а фрегат после легких исправлений пошел в Гонг-Конг.

Здесь снова принялись за тщательную конопатку и починку судна, а тем временем Путятин во исполнение той части инструкции, преподанной ему министерством иностранных дел, которая касалась нашей торговли с Китаем, отправился на шхуне в Кантон. Однако поездка эта не принесла никаких положительных результатов. Китайский резидент заявил адмиралу, что морская торговля с Россией не может быть разрешена, так как с русскими Китай и без того торгует по сухопутной границе, что и оформлено в соответствующих статьях договоров. В силу этого Путятину не оставалось ничего другого, как утешаться тем, что относительно захода русских военных судов в пять недавно открытых для европейской торговли портов китайцы не имели ничего против, считая это, повидимому, вполне естественным. Впрочем, для длительных переговоров с китайцами у Путятина и времени не было. Фрегат и без того опаздывал, а между тем в Гонг-Конге он узнал, что командор Перри, его американский соперник в японских делах, уже отправился с весьма внушительной по размерам эскадрой к месту своих главных действий. Путятину приходилось спешить, «чтобы не пропустить благоприятное для переговоров время». Поэтому, едва вернувшись из Кантона, он приказал сейчас же сниматься с якоря.

Утром 7 июля «Паллада» вступила в Тихий океан. Погода и ветер попрежнему были скверные; находили шквалы, разводя крупную зыбь, к вечеру по горизонту с огромной быстротой стали проноситься зловещие черные облака; луна взойшла в нимбе. Все предвещало близость тайфуна.



И. А. ГОНЧАРОВ В МОЛОДОСТИ

Портрет неизвестного художника, масло
Институт Русской Литературы, Ленинград

И действительно на следующий день уже с утра барометр начал заметно гадать. Все время налетали шквалы с дождем. Вечером ветер сильно крепчал, вызывая огромную зыбь; густая мрачность окутала горизонт: фрегат, паруса и люди сливались в какую-то сплошную массу. Всю ночь напролет брали рифы и спускали паруса, но ход фрегата не уменьшался, превышая к утру 14 узлов.

Волнение было огромное и неправильное от частой перемены ветра, который все время переходил на несколько румбов. Небо еще более потускнело, дождь лил потоками, а барометр все падал.

Божовая качка была невероятная; размахи доходили до 45°; фрегат черпал сетками, концы грота-рей не раз уходили в воду, так что едва не смыло нескольких матросов; у орудий задние колеса при наклонах приподнимались на два дюйма от палубы. Надводная часть судна «по обыкновению» тотчас дала движение, и по верхним палубам открылась течь. Вода хлестала во все люки, текло всюду; все помпы работали непрерывно, но никак не могли справиться с этим наводнением; на фрегате не осталось ни одного сухого местечка, а в трюме вода быстро поднималась.

Но худшее было еще впереди. Вечером один за другим изорвало грот, фок и фор-марсель. Остальные паруса убрали, и фрегат мчался всего-навсего под двумя, взятыми на четыре рифа. Тем не менее ход его не падал ниже 10 узлов. В 10-м часу частью от напора ветра, частью от подвижки корпуса, начали лопаться ванты, преимущественно у грот-мачты. Впрочем и вообще крепление вант не выдержало, и они так ослабели, что с силой бились о сетки. Ходить по ним не было никакой возможности. Немного погода, тронулась и сама грот-мачта. Во времена размахов она гнулась, как трость, выжимая вон из гнезд клинья, которыми она была закреплена.

Положение судна становилось критическим. Близкое падение грот-мачты грозило ему верной гибелью. Закреплять мачту в порядке обычной команды не представлялось возможным из-за крайней опасности дела. Путятин вызвал охотников. Лейтенанту Савичу вместе с группой удалцов-матросов удалось заложить в помощь вантам особые блоки. Во время этой отчаянной работы одному из матросов разогнувшимся крюком раздробило голову. Но мачту все-таки слегка закрепили, а позднее, пользуясь временным затишьем, заложили внизу вокруг нее канат.

Между тем неустанно следили за переходами ветра; по ним установили центр урагана, взяли в сторону и постепенно начали выходить из самой опасной сферы. С 4 часов дня 10 июля ветер стал заметно стихать, но качка не уменьшалась: верхушки волн уже не срывало силой ветра, и они всюю массою били фрегат. Однако главную опасность можно было считать избытой⁷.

Ураган наделал немало бед на фрегате. Водой, заливавшей трюм, была подмочена большая часть провизии: много всякого добра перебилося и перепортилось. Наступившие вслед за ураганом штили принесли с собою невыносимую тропическую жару, и на фрегате снова показалась всякая зловонная гниль и плесень, а вместе с ними и разные болезни. Снова лазарет наполнился больными; да и из офицерского состава редкий избежал нездоровья. Гончаров слег с желудочной лихорадкой и рожистым воспалением на ноге. Между тем штили продолжались; «Паллада» еле-еле плелась по спокойным просторам океана, и плователям грозил, если не голод, то большие лишения из-за порчи провианта. Обнаружилась нехватка сухарей, часть которых за негодностью пришлось выбросить за борт. Для больных недоставало свежих продуктов. Опреснитель снова закапризничал, так что морякам приходилось довольствоваться застоявшейся водой из цистерн.

Только в 20-х числах задул, наконец, попутный ветер, и 26 июля фрегат прибыл в Порт-Ласйд на Бонин-Сима, употребив ровно месяц на недельный переход.

В порте Ллойд «Паллада» застала всю эскадру. Еще в Петербурге было решено присоединить к путятинской экспедиции в водах Тихого океана два из находившихся там судов. Рандеву первоначально было назначено в Гонолулу на Сандвичевых островах, а затем в связи с изменением маршрута «Паллады»—на

Бонин-Сима. Здесь-то и поджидал запаздывавший фрегат транспорт «Князь Меншиков» и корвет «Оливуца». На них была доставлена с Сандвичевых островов провизия и, главное, сухари, что было очень кстати, так как на островах Бонин-Сима все наличные припасы забрала эскадра командора Перри, заходившая сюда до прибытия Путятина.

Кроме того на транспорте прибыли курьеры из Петербурга и Вашингтона с депешами, предписаниями и письмами. Между прочим Путятин получил из министерства иностранных дел предписание начать переговоры в Нагасаки и, по возможности, воздержаться от посещения Иедо, чтобы не раздражить японцев.

4 августа покинули гостеприимные острова Бонин-Сима и направились в Нагасаки. «Плавание до сего последнего порта,—донесил Путятин генерал-адмиралу,—было одним из самых счастливых во всех отношениях. Нам постоянно дул умеренный попутный ветер, при котором весь отряд держался соединенно. Несмотря на то, что фрегат все время имел на буксире шхуну, он шел от шести до девяти узлов, оставляя за собою все прочие суда. Но и при этом замедлении переход от Бонин-Сима до Нагасаки, составляющий 850 миль, совершен с небольшим в пять суток.

«В прекрасную летнюю погоду, засветло, миновали мы мелкие острова, составляющие южную оконечность Японского архипелага. 9-го числа, вечером, подошли к Нагасакскому рейду, но, по малоизвестности его, эскадра не вошла в темноте и всю ночь держалась у входа, под малыми парусами. На следующее утро, 10-го августа, я приказал поднять на фрегате флаг уполномоченного, и мы пошли на первый, или наружный рейд, где штиль продержал нас до четырех часов пополудни. После сего, в сопровождении нескольких японцев, прибывших на фрегат для обычных осведомлений, коими они встречают все европейские суда, мы в боевом порядке, при звуках национального гимна, прошли первые с моря нагасакские батареи, наполненные любопытствующими японцами, и около 6-ти часов вечера бросили якорь на среднем рейде».

«Цель десятимесячного плавания была достигнута». Но успех этот дался экспедиции в напряженной борьбе с бесчисленными препятствиями. Сравнивая походы «Паллады» с аналогичными плаваниями других судов этого же типа, приходится признать, что пальма первенства в смысле всякого рода «изнурительных трудов, лишений и опасностей», безусловно остается за ней. Во всяком случае ей пришлось пережить много такого, что не выпадало на долю других русских судов и что никак не укладывается в рамки мирного и безмятежного морского вояжа.

Впереди же путешественников ждало еще множество различных более или менее тягостных приключений.

II

Еще во время пребывания в Гонг-Конге члены экспедиции во главе с самим адмиралом были смущены дошедшими сюда сведениями о русско-турецком конфликте и остроте дипломатических переговоров по этому поводу.

Как для Путятина, так и для всех остальных было ясно, что этот конфликт постепенно приобретает европейское значение, а тон английских газет не оставлял никаких сомнений в позиции, занятой британским кабинетом. Само собой понятно, что и без того сложное положение экспедиции неизмеримо усложнялось.

Легко себе представить, в каком положении оказалась экспедиция, и в особенности Путятин, страстный англоман, все свои расчеты строивший на английской поддержке, когда в Гонг-Конге после всяческих любезностей англичан в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды⁸ он натолкнулся не только на глухое противодействие в его кантонских переговорах, но и на целый ряд мелких затруднений при ремонте фрегата и пополнении запасов. В связи с газетными известиями о русско-турецком конфликте все это приобретало характер весьма зловещих симптомов.

Положение «Паллады» с выходом в Тихий океан становилось прямо отчаян-

ным. Было совершенно очевидно, что в случае начала военных действий английская эскадра, занимавшая ближайшие китайские порты, узнает об этом раньше «Паллады» и, будучи в подробностях осведомлена о маршрутных предположениях экспедиции, легко захватит ее в том или ином месте. С другой стороны, в силу натянутых отношений с Америкой, Путятину было решительно невозможно ни опереться на шедшую впереди эскадру командора Перри и ее отлично оборудованные базы⁶, ни рассчитывать на радушный прием в американских портах, буде дряхлой «Палладе» удалось бы туда добраться.

Япония, китайское побережье Тихого океана и Филиппины с англо-французскими станцонерами — в этом треугольнике Путятин был заперт, как в мышеловке. Оставался, правда, путь на север, мимо неизвестных берегов Кореи, в открытый Невельским Татарский пролив, но русские порты Охотского моря представляли собою весьма ненадежное убежище от мощного неприятеля, оставаться же в Амурском лимане было рискованно по чисто морским соображениям.

А между тем приходилось во что бы то ни стало продолжать поход. На совещании у Путятина в Гонг-Конге было решено итти в Японию и приступить к переговорам, но в то же время держать постоянную связь с ближайшим китайским портом, чтобы всегда быть в курсе всех дел.

Во исполнение этого решения Путятин вскоре по прибытии в Нагасаки отправил транспорт «Князь Меншиков» в Шанхай «за провизией и новостями», а шхуну «Восток» послал на север, с поручением прозвать съемку Сахалина, обследовать лиман Амура и Императорскую бухту, которая на худой конец предназначалась служить базой для эскадры.

Что же касается непосредственной цели экспедиции, то здесь полномочному послу очень скоро пришлось убедиться, что переговоры непременно затянутся на долгий срок.

Внешний ход переговоров изложен у Гончарова довольно точно. «Паллада» пришла в Нагасаки 10 августа, но только через месяц, 9 сентября, удалось передать письмо Нессельроде в Верховный совет, при чем губернатор заявил, что «скорого ответа на письмо получено быть не может». И действительно, прошел еще месяц, подходил к концу и другой, а известий из Иедо все не было и не было. Между тем вернулась из плавания шхуна «Восток», командир которой блестяще выполнил все поставленные ему задания; из Шанхая пришел обратно транспорт. Он привез свежую провизию и последние газеты, сообщавшие об отъезде кн. Меншикова из Константинополя.

Война оказывалась все более и более вероятной, а вместе с тем и настроение на эскадре становилось все более и более напряженным и тревожным. Приходилось подумывать об отыскании какого-нибудь убежища. «Я получил, — писал тогда же Путятин генерал-адмиралу, — известия о предстоящем разрыве с Турцией, Англией и Францией. Если бы оные известия подтвердились, положение наше в Японии будет весьма затруднительным, и я буду принужден удалиться в Ситху или Сан-Франциско, как нейтральный порт».

Однако вскоре адмирал резко изменил свое намерение, что свидетельствует о его некоторой растерянности.

Так как из Иедо ответа все еще не было получено, то он решил прервать переговоры и итти на Маниллу, рассчитывая в этом нейтральном порту в течение зимы снова капитально отремонтировать фрегат и весной, смотря по обстоятельствам, либо прямо направиться в Иедо, либо пуститься в крейсерство в Тихом океане. Начали готовиться к выходу в море, но как только губернатор Нагасаки узнал об этом, то, опасаясь, как бы Путятин не пошел в Иедо, он бросился уговаривать подождать еще немного. Когда все эти уговоры оказались тщетными, японцы «рискнули на последнее средство: раскрыли свои карты, официально уведомив о скором прибытии уполномоченных из Иедо».

Это существенно меняло дело. Теперь не было никакого смысла тащиться на Маниллу: приходилось дожидаться уполномоченных и так или иначе договориться с ними. Тем не менее Путятин решил использовать остающееся до их при-

езда время для того, чтобы самому побывать в Шанхае и у консулов нейтральных стран собрать все необходимые сведения о политическом положении в Европе. 11 ноября, ровно через три месяца после прибытия в Японию, «Паллада» снялась с якоря и в сопровождении шхуны «Восток» двинулась в Шанхай.

С этого момента начинается, строго говоря, последний период плавания «Паллады», период вечных неожиданных переходов с места на место с целью скрыть свои следы.

Утром 14 ноября подошли к Седельным островам. Опасаясь вводить фрегат в реку, где он мог оказаться в ловушке, Путятин оставил его под парусами у входа в Ян-Тсе-Кианг, а сам на шхуне, «почти инкогнито»⁴⁰ отправился в город. Проходя устье, осведомились на опиумной флотилии о состоянии дел и узнали, что войны еще нет, но что со следующей почтой, ожидавшейся недели через две, должны притти решительные известия. Получив эти сведения, Путятин поспешил в Шанхай, где распорядился постановкой потрепанной в Татарском проливе шхуны в док, а сам занялся дипломатической рекогносцировкой.

Между тем политическая атмосфера все сгущалась и сгущалась. В среду, 8 декабря, адмирал поздно вечером явился в гостиницу, где стояло большинство русских офицеров, и вызвал в отдельную комнату Посыета и Римского-Корсакова. «Я вошел первым, — рассказывает последний, — и застал его встревоженным. Он объявил нам, что пришла из Гон-Конга шхуна, адресованная на имя португальского консула, которая привезла известия о входе срединной англо-французской эскадры в Босфор и об объявлении войны между Россией и Турцией⁴¹. Приходилось торопиться, чтобы не попасть в руки стоявших на рейде английских судов. Не теряя ни минуты, Корсаков поехал на шхуну и распорядился, чтобы с трех часов утра приступили к работам и готовились к отплытию. На рассвете снялись с якоря и, на ходу вытягивая ванты, поднимая рангоут и прикрепляя паруса, пошли на соединение с фрегатом. Адмирал прибыл несколькими днями позже, инкогнито, на частной яхте. Он дождался почты из Гон-Конга и, убедившись, что пока еще с Францией и Англией официально разрыва нет, спешил в Нагасаки на свидание с уполномоченными.

Через несколько дней, по возвращении в Нагасаки, туда прибыли и «goote Neggen» из Иедо и начались переговоры по существу дела. Но и тут, после первого же заседания, Путятину пришлось убедиться, что тактика затягивания и всяческих проволочек будет продолжаться и впредь. Было очевидно, что в Иедо еще не вполне отказались от надежды умышленным промедлением и множеством представляемых затруднений отсрочить дело на неопределенное время и охладить наше и американское правительство к достижению открытия портов, и что там решились бы на последнее только в случае совершенной невозможности противиться нашим настояниям. Вывод этот был совершенно правильным, особенно если принять во внимание, что с японской стороны все переговоры были в руках Кавадзи, ожесточенного противника всяких сношений с иностранцами, резко восстававшего позднее против заключения договора с Америкой.

Как бы там ни было, но переговоры приняли затяжной характер. Свидание следовало за свиданием; приемы, чаепития, собеседования отличались крайним радушием, любезностью и дружелюбием: стороны обменивались комплиментами, подарками, но дело не шло на лад. «Логические», по выражению Путятина, доводы не действовали на японцев. Напрасно он приводил уполномоченным сотни доказательств, составлял для них красноречивые и убедительные записки, соблазнял последними завоеваниями промышленной и военной техники. Кавадзи не поддавался ни на какие убеждения и, прикидываясь чуть ли не сторонником политики открытых дверей, очень ловко, не оскорбляя достоинства противной стороны, уклонялся от всяких положительных обещаний.

А между тем время шло, и с каждым днем положение экспедиции становилось опаснее и опаснее. Лишенная каких-либо известий, так как Путятин опасался посылать свои суда в Шанхай, она всякую минуту могла ожидать внезапного нападения неизмеримо более сильного врага. Необходимо было на что-нибудь ре-

шиться, и Путятин остановился на своем прежнем плане: идти на Маниллу, — там основательно починиться и весной начать крейсерство в Тихом океане. На эскадре мечтали о набеге на Австралию, о каперстве у берегов Индии и пр., и пр.

Уходя, адмирал оставил японцам проект трактата, обещая вернуться весной для его обсуждения, и обменялся с уполномоченными нотами, которыми Россия объявлялась наиболее благоприятствуемой страной по торговле, с обязательством распространения на нее всех возможных привилегий, какие могут быть выданы другим державам.

Вслед за тем (27 янв. 1854 г.) после прощального обеда эскадра вышла в океан и направилась на Маниллу с заходом на Ликейские острова, где комадор Перри устроил свое депо и где Путятин надеялся разузнать последние новости из Европы.

Утром 29 января завидели главный из этих островов и к вечеру подошли к рейду в гавани Нада-Кианг.

Здесь «Палладу» ожидало новое злоключение. Берег отделялся от океана длинной грядой коралловых рифов, сквозь которые было только два узких прохода. Протккользнуть в них ночью не представлялось никакой возможности; приходилось ждать утра. Фрегат бросил якорь в виду берегов, неподалеку от рифа, надеясь на рассвете попасть на рейд.

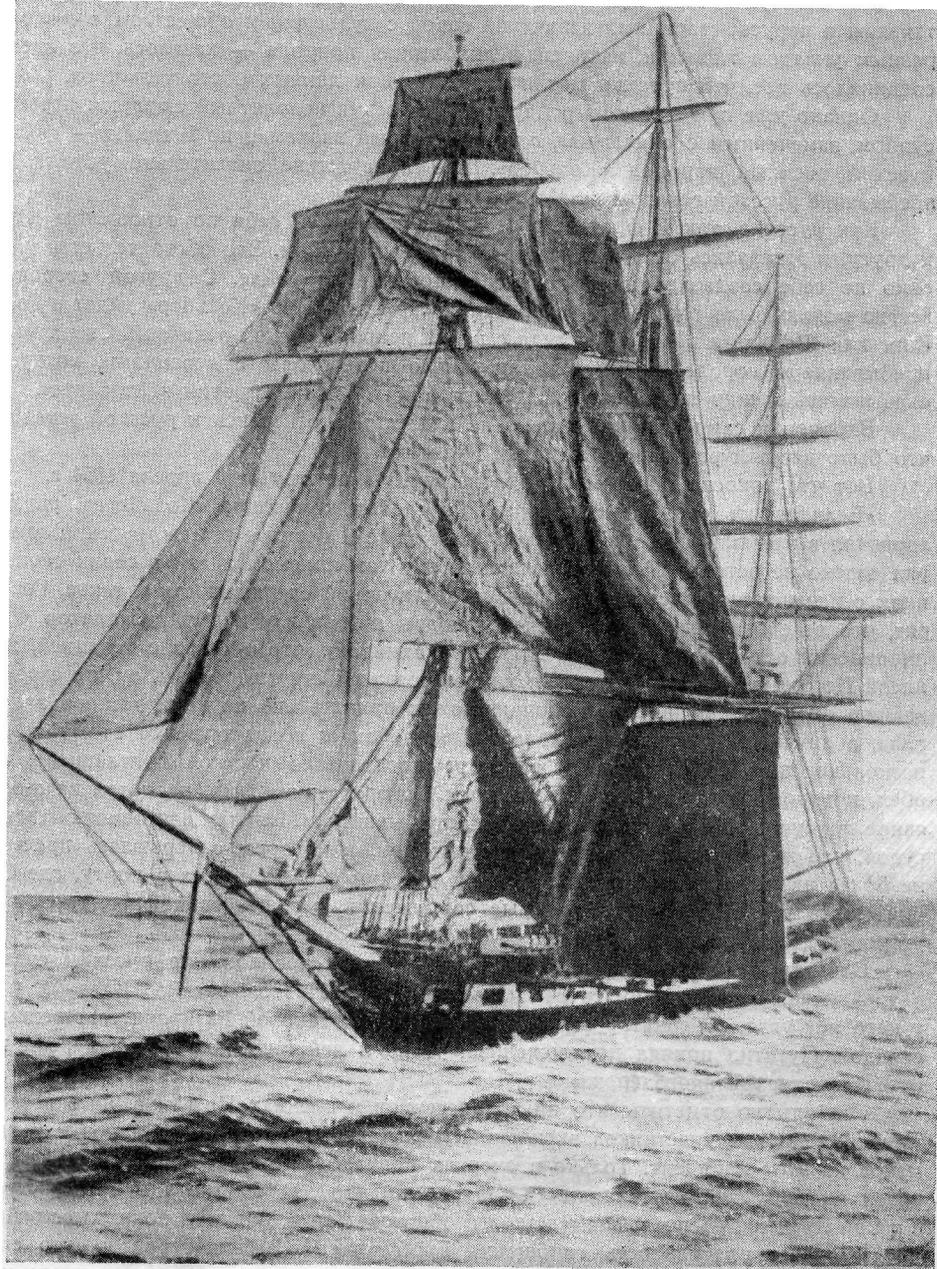
Надежда эта не оправдалась. Ночью поднялся крепкий, переходящий в шторм ветер с моря, прижимавший несчастное судно к рифу. При этих условиях нечего было и думать сниматься с якоря: прежде чем успели бы поднять его, «Палладу» подрейфовало бы на камни. Приходилось отстаиваться на месте. «Кругом была непроницаемая мгла. Дождь хлестал с остервенением: в воздухе реяли огненные струи; ветер ревел, заглушая гром». Среди плователей снова воцарилась тревога. Стоило только лопнуть канату или сдать якорю, и судно грозила неминуемая гибель на рифах. К утру ветер начал было стихать, но потом снова задул с прежней силой, продержав моряков более двух суток «на рубеже жизни и смерти». Дважды пытались поднять якорь, и всякий раз приходилось бросать дело на половине: судно сейчас же начинало дрейфовать к берегу. В результате этих попыток только приблизились к скалам чуть ли не на 200 сажен.

«Перед нами, — пишет Гончаров, — менее нежели в полуверсте играли буруны, неистово переливаясь через рифы. Океан как будто толкал нас туда, в клюжочущую бездну, и мы упирались у порога ее, как упирается человек или конь над пропастью. Ветер все крепчал, и нам оставалась только борьба с океаном и вопрос с сомнением, кто одолеет? мы... или... Смерть от нас в двухстах саженях: как надеяться, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного судна? Мы ходим под страхом, в томительном ожидании, все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга, отворачиваются»¹²...

Гибель казалась столь близкой, «что бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали впоследствии, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна, а английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении»¹³.

Однако судьба и на этот раз скалилась над дряхлой «Палладой». На исходе второй ночи ветер стал стихать, меняя направление, и утром судно получило, наконец, возможность перебраться за рифы — на спокойный, хотя и усеянный мелями рейд.

Описание Ликейских островов принадлежит к самым очаровательным страницам «Паллады». К сожалению, обстоятельства не позволяли экспедиции задержаться в этом чудесном месте. Адмирал попытался довольно неудачно войти в сношения с местными властями, но, убедившись, что японские обычаи по отношению к иностранцам пустили глубокие корни и на этих островах, к слову сказать, подвластных Японии, ограничился лишь тем, что разузнал в депо американцев о последних европейских новостях и о намерениях Перри. 9 февраля двинулись на Маниллу.



ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА» ПОД ПАРУСАМИ

Макет

Военно-Морской Музей, Ленинград

Уже давно моряки мечтали об этой «тропической Испании».

Манилла представлялась им каким-то убежищем от всяких зол и невзгод тяжелого и трудного плавания. Нейтральный порт и притом дружественной державы, где можно было спокойно и не торопясь вычинить истрепанные суда; богатые склады корабельных припасов, позволявшие переменить изношенный рангоут такелаж и паруса; старинный испанский город с культурным обществом, с своеобразным укладом жизни и, наконец, великолепная природа — казалось, что здесь соединилось все, что путники могли пожелать при данных обстоятельствах.

Однако уже при входе на рейд их ждал весьма неприятный сюрприз: первый судный, замеченным с «Паллады», оказался старый знакомец по Шанхаю — французский военный пароход «Кольбер». Его присутствие значительно усложняло пребывание русской эскадры на Манилле.

Как русские, так и французы не знали, как вести себя по отношению друг к другу, и отказались от традиционного обмена визитами. Это обстоятельство уже само по себе создавало напряженное настроение на рейде. С другой стороны всегда можно было ожидать, что в один прекрасный день «Кольбер» уйдет в Гонконг или Шанхай и вернется оттуда с целой неприятельской эскадрой. Сверх того пребывание в городе французов затрудняло переговоры с испанцами, которые оказывались между двух огней и должны были держать строгий нейтралитет.

Впрочем и сами испанцы далеко не приветливо отнеслись к русской эскадре что было вторым разочарованием для Путятина.

Вот что доносил об этом Бурбулон своему министру от 4 апреля 1854 г.

«Если верить сведениям, которые, по словам командира «Кольбера», циркулировали в манильском обществе и попали даже в местные газеты, русский адмирал далеко не остался доволен сделанным ему там приемом и сам в своих сношениях с испанскими властями не проявил достаточной сдержанности и такта. Говорят, что вслед за прибытием русской эскадры в Маниллу новый губернатор Филиппинских островов ген. Павиа дал знать адмиралу, что в связи с позицией, занятой Петерб. кабинетом по отношению к Правительству Королевы, он, по своему званию правителя испанской колонии, может принять его не как русского адмирала, а лишь как частное высокопоставленное лицо; соответственно этому через несколько дней со стороны губернатора последовало частное приглашение на обед, которое и было принято Путятиным. Говорят также, что, несмотря на столь явное предупреждение, русский адмирал, прибывший в Маниллу для починки своих судов, все же обратился к генералу с письмом, в котором содержалась просьба не более не менее, как о предоставлении русским особого места в порту, где бы они могли возвести все необходимые сооружения, поднять свой флаг, словом — устроить депо для своего флота.

Единственным ответом на эту просьбу было «предложение русским судам в трехдневный срок покинуть Манильский рейд». На возражение Путятина, что у него нет угля, губернатор заявил, что он выдаст таковой из правительственных складов. Путятин принял предложенный уголь и действительно покинул рейд до истечения трехдневного срока»¹⁴.

Любопытно отметить, что ни в донесениях и письмах Путятина, ни в воспоминаниях других участников экспедиции нельзя найти никаких откликов или намеков на этот инцидент. Только в очерках Гончарова глухо упомянуто о внезапности их отплытия из Маниллы¹⁵. Однако именно эта быстрота и внезапность, с какой Путятин, располагавший надолго обосноваться в Манилле, покинул ее рейд, подтверждает правильность сообщения Бурбулона¹⁶. Весьма вероятно, что его донесение сгущает краски в неблагоприятном для русского адмирала смысле, но сущность содержащихся в нем сведений, по всем данным, близка к истине.

Как бы там ни было, но надежды на Маниллу не оправдались, а вместе с этим рушились и все планы о крейсерстве в Тихом океане, о походе в Австралию и пр., и пр. Состояние «Паллады» было таково, что не приходилось мечтать даже о простом переходе в Сан-Франциско или какую-нибудь другую удобную американскую гавань. Оставалось только одно: идти к ближайшим русским владениям, а оттуда

пробираться в Петропавловск или Ситху. И то и другое очень не улыбалось Путятину, так как он знал, что ни в одном из этих портов нельзя найти ни средств для капитального ремонта фрегата, ни продовольствия для команды. Однако никакого другого выхода у него не было. Во всяком случае с Маниллой нужно было расставаться, и чем скорее, тем лучше, потому что в городе распространились слухи о скором прибытии английской эскадры.

Наметив корейский остров Гамильтон первым этапом плавания к русским владениям, Путятин поспешил покинуть негостеприимный порт, тщательно скрывая направление своего движения. 27 февраля эскадра вышла в море с перспективой встретиться с гораздо сильнеешим врагом.

Первоначально суда держались вместе, но вскоре затем Путятин послал шхуну вперед, на Батан заготовить провизию, а транспорт — к Шанхаю на рекогносцировку.

Таким образом «Паллада» и «Оливуца» как вполне пригодные боевые суда остались одни.

Настроение у моряков было крайне возбужденное. С минуты на минуту ждали встречи с неприятелем. Фрегат привели в боевую готовность; пушки зарядили двумя ядрами; было решено во всяком случае принимать бой и при неблагоприятном исходе взорваться. На эту тему в кают-компаниях шли бесконечные волнующие разговоры; наблюдение за горизонтом было усилено; все жили на-чеку. Несколько раз происходила ложная тревога.

И среди всех этих волнений «Палладу» ждала новая, еще горшая беда. Погода все время стояла бурная; дули крепкие противные ветры с порывами. Между тем приходилось спешить изо всех сил, и старое судно несло гораздо больше парусов, нежели могло выдержать. В результате, после двух или трех особенно сильных шквалов, обе главные мачты — грот и фок — сдали, последняя дала настолько серьезную трещину, что пришлось убрать большую часть парусов.

О продолжении плавания к берегам Кореи нечего было и думать. Прежде всего нужно было хоть на скорую руку исправить аварию. Но где это сделать? Итти в Гон-Конг или Шанхай не представлялось возможным: это означало бы прямую капитуляцию. Из Маниллы только что вежливо прогнали. Пробираться в Батавию слишком далеко, да и опасно из-за весьма вероятных встреч с англо-французами. А в то же время болтаться в море с уменьшенной парусностью, под угрозой гибели от первого шторма или в первом столкновении с неприятелем, было бессмысленно. В этой крайности командиры решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона.

Предварительно заглянули на Батан, приняли провизию и уведомили шхуну, чтобы она шла в порт Гамильтон, не дожидаясь фрегата.

Оттуда в двое суток перешли в Пио-Квинто, где принялись за исправление повреждений: одна партия рубила деревья в тропическом лесу, другая изготовляла из них соответствующие шкалы, в которые, словно в корсеты, зашнуровывали ослабнувшие мачты; закрепили также расхлябанные от гнилости палуб мачтовые гнезда. Работа производилась наспех, чтобы только как-нибудь добраться до берегов Сибири. Несмотря на это починка вышла на славу, и с этого времени вплоть до конца похода пометки в шханечном журнале о слабости мачт совершенно прекращаются. Таким образом «Паллада» снова получила возможность развивать свою обычную скорость.

Утром 21 марта снялись с якоря и двинулись к северу. Для моряков снова началась тревожная жизнь военного времени; снова фрегат был приведен в боевую готовность и шел с заряженными пушками, с вооруженной командой; опять пошли усиленные вахты, напряженное наблюдение за горизонтом, ложные тревоги.

Между тем ветер, первоначально попутный, изменил направление и задул прямо в лоб. Приходилось лавировать, теряя массу дорогого времени на бесцельное и опасное блуждание по морю. Только 26-го пересекли северный тропик, что

бы уже больше никогда не спускаться к нему. Через несколько дней с севера начало весьма чувствительно «попахивать холодом», пошли бесконечные дожди, разводя на судне сырость; горизонт нередко закрывала непроницаемая пелена тумана. «Паллада» навсегда прощалась с полуденными широтами. Еще через несколько дней завидели пустынные скалы Гамилтона и 6 апреля вошли в угрюмую, дикую гавань. На рейде застали только шхуну; транспорта из Шанхая еще не было. Впрочем он не заставил себя долго ждать: пришел в тот же день. Однако из Европы «новости» были все те же, какие получили еще в Манилле: дипломатические сношения с Францией и Англией прерваны, но объявление войны еще не состоялось.

Рассчитав сроки получения почты и выяснив, что известие о начале военных действий не может достигнуть Шанхая раньше чем через две недели, Путятин решил использовать это время, чтобы снова напомнить о себе в Нагасаки. В исполнение этого решения 7 апреля снялись с якоря и на другой день явились в Нагасаки. Узнали у губернатора, нет ли ответа из Иедо; ответа, конечно, не было. Но Путятин и не рассчитывал на него: он уже давно решил, что в Нагасаки ничего путного не добьется, и ждал лишь удобного случая, чтобы понаведаться в какой-нибудь порт поближе к резиденциям Микадо и Сеогуну. Остальное время стоянки прошло в обычных церемониях с получением провианта, разменом подарков и пр., и пр. По выходе из Нагасаки эскадра снова разделилась; транспорт направился прямо в Императорскую бухту, корвет «Оливица» Путятин отослал в распоряжение Невельского, Римскому-Корсакову поручил разведку у Шанхая, а сам, желая выждать, пока Татарский пролив очистится от льда, двинулся к берегам Кореи, где, по его расчетам, враги едва ли бы стали его искать; в то же время он намеревался произвести съемку неизвестных районов.

Пожнув Нагасаки 14 апреля, 18-го миновали Цусиму и 20-го завидели Корейский берег. Этот день и надо считать началом знаменитой в летописях русского плавания съемки, продолжавшейся около месяца. Работа происходила в невероятных трудных условиях. Погода все время стояла отвратительная. Лишь изредка в шханечном журнале попадаются заметки: «ясность, светлость луны, блистание звезд» или «малооблачно, с просиянием солнца». Большею частью небо было обложено низкими тучами, шли непрерывные дожди; налетали шквалы; по горизонту вечно стояла «мрачность». Когда же несколько продвинулись к северу, «Палладу» стали одолевать туманы. А между тем при таких условиях и простое плавание было сопряжено с большими опасностями и трудами, производство же описи превращалось в какое-то сплошное мытарство, изнурявшее моряков. Для многих участков берега никакой предварительной съемки не было вовсе; для других существовали совершенно неверные карты конца прошлого столетия. Приходилось идти ощупью, наугад, останавливаясь в туманные дни на якорю или отбегая подальше от суши в случае усиления ветра. Судно не раз было на краю гибели: то внезапно подымалась пелена тумана, и береговые скалы, до которых по расчетам было еще далеко, оказывались близехонько, чуть ли не в двух шагах, то едва не под носом фрегата неожиданно выступала из пасмурности полоса буруна, признак мели и подводных камней. Непрерывно — по два, по три раза на день — спускали гребные суда для промеров и рекогносцировок. Офицеры и матросы проводили добрую половину времени на шлюпках, выбиваясь из сил в тяжелой работе, под проливным дождем и холодным ветром. Несколько раз останавливались на день-два в неизвестных гаванях. Тогда отправлялись на берег, старались завести сношения с жителями. Это удавалось плохо: корейцы упорно сторонились чужеземцев, иногда встречали их камнями и дубинами, упорно отказывались продавать какие-либо припасы. Впрочем, и самый край выглядел таким убогим и бедным, что на получение сколько-нибудь серьезных партий провианта рассчитывать не приходилось. А на фрегате между тем начинала ощущаться острая нужда в свежих припасах. Скудные подарки нагасакского губернатора давно уже кончились; приходилось переходить на старую солонину; но хуже всего было, что приходили к концу сушари; на Манилле из-за спешности отплытия не успели запастись ими, а взяли

муку, и теперь приходилось экономить. А между тем именно теперь команда нуждалась в усиленном довольствии: от постоянной сырой и пасмурной погоды, от изнурительной работы на фрегате стали показываться подозрительные по цынге заболевания.

Тем не менее опись продолжалась: поверялись старые карты, составлялись новые, и Корейский берег постепенно начал менять свои традиционные очертания. Открыли три новых превосходных бухты, которым дали имена: бухты Унковского, порта Лазарева, залива Посьета. Заносимые на карту новые мысы и острова также крестили в честь участников экспедиции: мыс Гошкевича, остров Пещурова и т. д.; один островок выпал и на долю Гончарова. Наконец уже в середине мая съёмка закончилась; дальше начинался хорошо обследованный Лаперузом манчжурский берег. «Паллада» покинула береговую полосу и вышла в открытое море, взяв курс на Татарский пролив. 17 мая у самого входа в него неожиданно встретились с спешившей в Императорскую гавань шхуной «Восток»¹⁷.

Среди депеш и бумаг, доставленных Путятину Римским-Корсаковым, только одна заключала в себе положительные указания насчет дальнейших действий. Это было очень сухое лаконическое письмо от великого князя, которое гласило: «Донесения Ваши через г. Бодиско получены. По нынешним политическим обстоятельствам государь император повелевает Вам итти немедленно при первой возможности в гавань Де-Кастри близ устья Амура и находиться там со всеми вверенными вам судами в распоряжении ген.-губернатора Восточной Сибири, от которого получите дальнейшее назначение».

Исполнить это повеление Путятин, однако, не мог. Он уже назначил сборным местом для всей эскадры Императорскую гавань, и теперь ему оставалось только спешить туда. 20 мая подошли к входу в гавань, но не могли попасть в нее из-за густых туманов. Только через двое суток горизонт несколько расчистился, и вечером 22 мая «Паллада» вошла, наконец, на рейд, которому суждено было стать ее могилой.

Продолжать плавание они уже не могли. «Фрегат Паллада» — доносил несколько позднее Н. Н. Муравьев генерал-адмиралу, — закончил свою службу совсем, и хотя в свидетельстве комиссии сказано только, что он не может итти в море без исправления в порте, т. е. введения в док, но, как мне известно, эти исправления были бы такие, что строить новый фрегат; впрочем, он выслужил все сроки и плавал 8 лет после тимберовки.

Однако дело с «Палладой» не кончилось так просто. Было решено для безопасности ввести «Палладу» в лиман Амура с тем, чтобы после войны попытаться отконвоировать ее в Кронштадт.

Команда ее с частью офицеров должна была пойти на усиление Амурской экспедиции Невельского, сам же Путятин собирался вернуться сухим путем в Петербург.

С тяжелым сердцем принялись моряки за приготовление фрегата к последнему плаванью. 28 июня покинули Императорскую гавань и, зайдя на день в залив Де-Кастри, 1 июля вступили в так называемый Сахалинский фарватер Татарского пролива с целью проникнуть в Амурский лиман. Начался последний, если не самый опасный, то самый мучительный этап плаванья.

Два с половиной месяца бился Унковский над проводкой «Паллады» в устье Амура и все же был вынужден отказаться от этой задачи.

Хотя и были найдены глубины, почти подходившие для разоруженного фрегата, но вся беда была в том, что провести огромное парусное судно по узкому и крайне извилистому фарватеру, пользуясь гритом только «полной водой» без помощи сильных буксиров, не представлялось никакой возможности. Крутые и узкие извилины не давали достаточно места для поворотов, приливы и отливы служили большой помехой для точных промеров; сильное течение в протоках прижимало фрегат к банкам; вечная перемена ветров постоянно сулила неприятные сюрпризы. «Палладе» не раз угрожала гибель: то при крупном и неправильном волнении старое судно начинало бить о дно на мелководьях, то налетевший шквал

притискивал ее к мели, то в часы отлива вода буквально убегала из-под киля, и фрегат прозил лечь на бок. Тогда на «Палладе» гондмималась тревога, спускали гребные суда и поспешно перетягивались на другое место. Впрочем «тянуться» морякам приходилось постоянно. Со дня вступления в Сахалинский фарватер движение под парусами почти прекратилось; шли на буксире у своих же шлюпок.

К 15 июля кое-как дотащились до мыса Лазарева, у входа в Амурский лиман. Теперь предстояла самая трудная часть пути: перетянуть фрегат через мелководный бар. С этой целью с него сняли решительно все: орудия, материалы, припасы. Фрегат несколько поднялся, но этого было мало. Тогда решили подвести под корму, чтобы несколько приподнять ее, воздушные ящики, легкие цистерны. Однако из этого ничего не вышло: цистерны либо ломались, либо выскакивали из-под корабля. Между тем самая установка их была чрезвычайно трудна: люди, проводившие целые дни в воде, простужались, заболели и доходили до полного изнеможения.

Не зная, что предпринять, Унковский обратился к Муравьеву. Но для Муравьева проходимость Амурского лимана для больших судов была главной картой против Нессельроде во всей его амурской политике. В силу этого в донесении Унковского он усмотрел чуть ли не желание скомпрометировать его перед Петербургом, куда он уже сообщил о вводе «Паллады» в устье Амура; в весьма резкой и категорической форме он снова подтвердил свое первоначальное приказание. Тогда Унковский запросил Путятина, но раздраженный своей подчиненностью Муравьеву как генерал-губернатору Восточной Сибири Путятин в официальном отзыве рекомендовал Унковскому «исполнить волю высшего начальника».

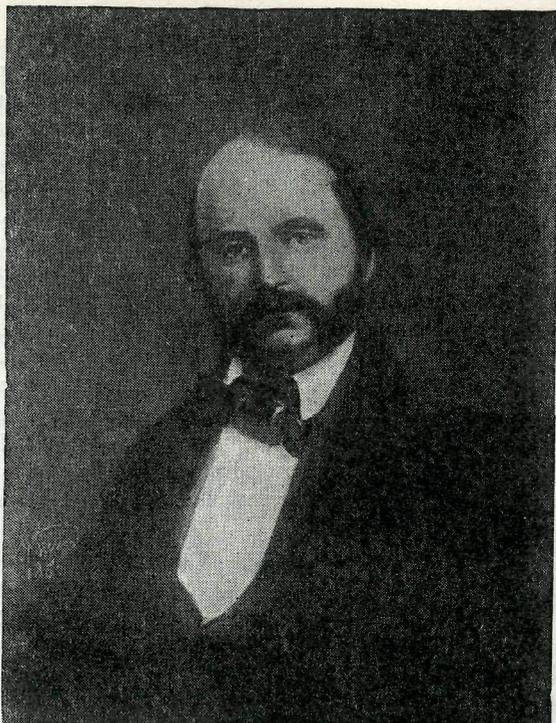
Снова начались медленные скитания по Татарскому проливу; фрегат на буксире перетаскивали из одного протока в другой в тщетной надежде найти где-нибудь удобный доступ к лиману. В конце-концов опять очутились у мыса Лазарева, где скинули с фрегата все возможное, и начали тянуться через бар. Каких усилий стоило это команде, — об этом лучше всего говорит запись шханечного журнала; начиная с июля месяца, в нем постоянно попадаются отметки о смерти того или другого матроса; за время своего пребывания в Татарском проливе «Паллада» потеряла больше людей, нежели за все плавание, хотя и там процент смертности сравнительно с другими экспедициями был очень высок. Среди офицерского состава умер штурман Истомир, все остальные переболели тяжелыми простудными заболеваниями («горячки»). Сверх всего прочего на фрегате «появилось много подозрительных по цынге случаев».

В это время произошло событие, существенно изменившее картину. Тот новый фрегат на смену «Паллады», о котором так хлопотал Путятин и в прибытии которого он уже отчаялся, наконец прибыл. В ночь на 22 июля на «Палладу», все еще стоящую у мыса Лазарева, неожиданно явился лейтенант барон Н. Г. Шиллинг с донесением от капитана Лесовского о приходе «Дианы» в Де-Кастри¹⁸.

С приходом «Дианы» оживились надежды на проводку «Паллады» в реку: увеличивалось как количество опытных рабочих, так и число гребных судов.

26 июля «Диана» была подведена к «Палладе», куда переместили часть ее команды, и работа снова закипела. В то же время Путятин занялся перевооружением своего нового судна за счет старого: дианские единороги были заменены 68-фунтовыми орудиями с «Паллады»; на нее перенесли оттуда и меньшую кройтку-камеру, увеличив таким образом боевые запасы судна. Вслед за тем встал вопрос о команде. Дело в том, что в связи с рядом столкновений с матросами, имевших место у Лесовского во время плавания, команду «Дианы» нельзя было считать надежной для такого трудного и опасного предприятия, какое затевал Путятин. Поэтому он решил перевести на «Диану» и большую часть испытанной палладской команды, всего свыше 300 человек. Вместе с этим шло и перекомплектование офицерского состава. Переходя на «Диану», Путятин, кроме своего штаба, брал с собою и нескольких особенно симпатичных ему офицеров: Лосева, Зеленого, Болтина, Пещурова, Колокольцева и др. Часть же дианских офицеров была списана с судна: Бутаков, Бирюлев и др. Из образовавшихся таким образом «офицер-

И. А. ГОНЧАРОВ

Портрет работы Н. Майкова, масло,
1850 г.Институт Русской Литературы,
Ленинград

ского запаса» несколько человек с Бутаковым во главе должны были остаться на Амуре, остальным же предоставлялось право вернуться в Петербург. Кроме того, лейтенанта барона Криднера Путятин посылал туда со специальной миссией представить личные объяснения генерал-адмиралу, рассчитывая, что этот последний к своему бывшему адъютанту отнесется более благосклонно, чем к кому-либо другому.

Этим моментом и воспользовался Гончаров, чтобы также «проситься домой». Ему решительно не хотелось пускаться в новое и к тому же чисто военное плавание, и он сумел представить адмиралу множество соображений, по которым его присутствие на «Диане» будет совершенно бесполезным и ненужным. Привязавшийся к нему Путятин с неохотой согласился на эту просьбу и дал просимое разрешение.

«2 августа, — гласит краткая запись шханечного журнала, — по приказу его превосходительства ген.-ад. Путятина переведены на шхуну «Восток»: отправляющийся курьером в С.-Петербург лейтенант барон Криднер, лейтенант Тихменев и секретарь при генерал-адъютанте Путятине — коллежский асессор Гончаров».

Расстались они дружески. Путятин вполне оценил недюжинные способности своего секретаря, очень дорожил его путевыми заметками и отпускал его с большим сожалением. Он позаботился о выдаче путникам щедрых подъемных и прогонных и просил Муравьева оказать им содействие в трудном путешествии. В то же время он писал генерал-адмиралу: «при перемещении моем с фрегата Паллады на Диану я между прочим признал более целесообразным предоставить находящемуся в экспедиции арх. Аввакуму и назначенному секретарем при мне чиновнику М-ва финансов кол. ас. Гончарову возвратиться сухим путем через Сибирь в С.-Петербург».

Если бы вашему императорскому высочеству благоугодно было бы иметь какие-либо сведения сверх имеющихся в моих донесениях о пребывании нашем в Японии, я беру смелость донести, что г. Гончаров удовлетворительнее других сможет изобразить все подробности наших свиданий с японскими уполномочен-

ними, ибо он, по назначению моему, присутствовал при всех переговорах с ними». Генерал-адмирал, однако, не пожелал видеть «историографа экспедиции», хотя и прочёл позднее с большим удовольствием его путевые очерки.

4 августа шхуна подошла к фрегатам, приняла путешественников и, немедленно, направилась в Николаевский порт, за Муравьевым, собиравшимся на ней в Аян. Таким образом, день 4 августа был для Гончарова днем расставания с «Палладой» и с ее дружной и милой кают-компанией.

Забрав в Николаевском порту Муравьева и его свиту, шхуна двинулась в дальнейший путь. Но и на этом последнем морском переходе судьба не побаловала Гончарова спокойным, приятным плаванием. «Переход шхуны из Аян, — заносит в свой дневник Римский-Корсаков, — был вообще неудачен. Муравьеву нужно было зайти в Петропавловское Зимовье, и там шхуне пришлось отстаиваться на якоре из-за свежих ветров четверо суток. Кроме того на переходе в Зимовье часто становились на мель, и только 15 августа попали в Аян¹⁹. Так как шхуна должна была немедленно идти в Петропавловск, то путников торопили с высадкой. Вечером того же дня Гончаров был на берегу. Путешествие его закончилось: из путешественника он превратился в «проезжающего по казенной надобности».

Между тем в Амурском лимане все шло по-старому. Несмотря на пополненную команду и удвоенное число гребных судов, все попытки Унковского провести «Палладу» через бар в устье реки не имели успеха. «Все решительно рукава в этом лабиринте мелей были исследованы и оказались слишком мелководны. Во время этих работ фрегат выдержал несколько штормов. Из них исключительным по силе был шторм 10 сентября, ни в чем не уступавший тайфуну; этим штормом было разбито у борта «Паллады» несколько шлюпок с «Дианы».

Наконец Путятин, видя, что из всех этих попыток все равно ничего не выходит, и торопясь до наступления осенних бурь покинуть негостеприимный Татарский пролив, решил принять на себя ответственность за неисполнение муравьевского распоряжения. Приказом от 15 сентября Унковскому предписывалось сдать «Палладу» Лесовскому для отвода ее на зимовку в Императорскую гавань, а самому следовать в С.-Петербург. Унковский вздохнул с облегчением: 24-го числа сдача состоялась, и Лесовский немедленно повел отслужившее все сроки судно к месту его последней стоянки. В Императорской гавани «Палладу» поставили в одной из самых укромных бухт (Константиновской).

Перезимовав благополучно, команда на следующее лето была отправлена на Амур. Надводную часть «Паллады» сожгли и затем потопили фрегат, боясь, чтобы он не попал в руки англичан.

Бывший в Императорской гавани несколько лет спустя С. А. Вышеславцев так описывает эти места: «Вот довольно обширная просека; тут остатки батарей, возведенных Путятиным. Быльем и мусором поросло здесь пепелище первых русских построек; против этого места показывают могилу «Паллады»; говорят, будто иногда, в ясный день виднеется абрис ее бизань-мачты»²⁰.

III

Все вышеприведенные материалы с полной очевидностью показывают, что годлинная история путятинской экспедиции не имеет почти ничего общего с «правдивым до добродушия» рассказом Гончарова. «Фрегат Паллада» — прежде всего литературное произведение, сделанное в строго определенном литературно-художественном плане, а отнюдь не простой отчет путешественника. Печатаемые ниже письма представляют исключительный интерес именно в том отношении, что они позволяют раскрыть художественный замысел, лежащий в основе гончаровских очерков.

Как бы сдержан и осторожен ни был Гончаров в этих письмах, как бы ни фильтровал он содержание своих писем (многое в них к тому же служит предва-

рительными эскизами к тексту очерков, т. е. уже является литературным, фактом, но все же мы находим в них много указаний на то, как он подходил к решению ответственной задачи описания путешествия, как заранее подыскивал тематико-идеологический и стилистический план для будущего произведения, какие при этом испытывал колебания и сомнения. Попробуем же более детально вскрыть значение публикуемых писем, анализируя с их помощью материал очерков на фоне документальной истории экспедиции.

Несмотря на внешнюю твердость и быстроту, с какой Гончаров принял решение «бежать» от скучной и нудной петербургской жизни в кругосветное путешествие, внутренне он все время пребывал в мучительной растерянности и колебаниях. Более того: еще не взойдя на корабль, он подумывал уже о возвращении с пути²¹. Его пугали не только предстоящие лишения, тревоги, опасности, вопросы здоровья и долгий срок плавания — его постоянно преследовала мысль о тех обязательствах, которые возлагало на него как на литератора участие в столь замечательной экспедиции. Сознание литературной ответственности ни на минуту не оставляло его ни в счастливые дни перед отплытием, ни позднее, в течение всего путешествия. Его частные письма друзьям полны различных замечаний по поводу работы над очерками, то унылых и разочарованных, то бодрых и самонадеянных. В этом отношении он остается верен самому себе, и среди тревог и волнений тяжелого плавания так же сосредоточен на своих художественных замыслах, как в покойной петербургской квартире. «Видно, и впрямь людям при рождении назначены роли, — замечает он сам по этому поводу, — мне вот хлеба не надо, лишь бы писать, что бы ни было, все равно, повести ли, письма, но когда сижу в своей комнате за пером, только тогда мне и хорошо». Кажется, и само путешествие переживалось им по-разному, в зависимости от писательства; ладился его литературный труд, тогда и все представлялось ему в розовом свете; наступала какая-нибудь заминка, одолевали сомнения — и все окружающее окрашивалось в мрачный колорит.

Первоначально Гончаров с радостью ухватился за мысль написать книгу путевых заметок. Это соображение сыграло значительную роль в его решении принять участие в экспедиции. Отчаиваясь в успешном завершении «Обломова» и «Обрыва», работа над которыми не клеилась, он надеялся создать здесь такое произведение, которое во всяком случае было бы интересно, если бы он даже просто, без всяких литературных претензий, записывал бы только то, что увидит.

Но постепенно и тут его стали одолевать привычные сомнения в своих силах, и соблазнительная сначала мысль о «путевых записках» превратилась в «грозное привидение». Ведь предстояло объехать весь мир и рассказать об этом так, чтобы слушали рассказ без скуки, без нетерпения. «Но как же рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какой физиономией явиться в общество?»

В самом деле, как и что рассказывать? Когда Гончаров, еще не покидая Петербурга, стал вдумываться в предстоящую ему задачу, она поразила его своею сложностью и громадностью. Ведь он не просто путешественник, ведущий беспристрастную запись пережитого; он литератор, художник — «артист», с которого спросят не простой отчет об испытанном, но художественное описание. Он обязан дать не беспорядочный дневник, но стройную картину, с гармоничным распределением частей и искусной выборкой материала. Задача сложная, не менее сложная, чем создание какой-нибудь повести или даже романа. Вот почему, еще никуда не уехав и ничего не увидев, он уже спрашивает себя, что и как описывать. Ему надо заранее определить свое отношение к материалу — свой художественный подход к нему: для поэтического претворения этого материала ему нужна какая-то литературная установка, литературный замысел.

А между тем именно «жанр» путешествия не обладает твердыми, традиционными формами. «Нет науки о путешествиях, — замечает Гончаров, — авторитеты, начиная с Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат: путешествия не попали под ферулу риторики», и благодаря этому «никому не отведено столько простору и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику».

Но в то же время Гончаров ясно понимает, что к нему будут предъявлены читателями особые требования: отделаться географией, историей, археологией ему не удастся: «отошлите это в ученое общество, — скажут ему, — а беседа с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, красок».

«Чудес, поэзии, огня, красок» — Гончаров не ошибался, что именно такие требования и будут предъявлены к его литературному отчету о странствии в «волшебной дали, загадочной и фантастически прекрасной». Еще и поныне эта даль остается таинственной и чудесной — в пятидесятых же годах, когда в сознании широких кругов читателей, с одной стороны, были еще свежи традиции «морской» прозы Марлинского, а, с другой, — само кругосветное путешествие рисовалось каким-то фантастическим предприятием, поэтическое описание его в глазах широкой массы «людей всякого образования» не могло быть не чем иным, как патетическим и красочным повествованием о героическом, исполненном невзгод и приключений походе аргонавтов к таинственно прекрасным берегам.

Но еще более любопытно, что и сам Гончаров в глубине души также сочувствовал именно такой установке повествования; он сам жил романтической мечтой, сам грезил о чудесах загадочной дали, сам говорил о них «х о ф о ш и м с л о г о м». «Нет, не в Париж хочу, — восклицал он, — не в Лондон, даже не в Италию, — хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом в камень превращает все, чего коснется своим огнем; где человек, как праotec наш, рвет несаянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето — туда в светлые чертоги божьего мира, где природа, как багдетка, дышет сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обесиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устают смотреть, а сердце биться»²².

В этих восклицаниях дана исходная формула для построения книги путевых заметок, продолжающая как стилистически, так и тематически традицию русского романтизма тридцатых и сороковых годов. Гончаров отказался от нее в своих «Очерках путешествия», но в то же время он не может отделаться от мысли, что нечто подобное должно было бы войти в состав его произведения. Позднее, уже имея в руках целый ряд глав, написанных совсем по-иному основному плану, с иными тематическими и стилистическими заданиями, он все время испытывает беспокойство по поводу отсутствия в них патетического и романтического элементов.

«Пробовал я заниматься, — пишет он Майковым, подводя итоги плаванию, — и к удивлению моему явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова, все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня [от тоски — Б. Э.] только на время. Вдруг показались они мне не стоящими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные». «Тетрадь действительно толстая, — замечает он в другом письме, — но из нее не много путного наберется, и то вяло, без огня, без фантазии, без поэзии. — Не подумайте, что скромничаю. Это не моя добродетель».

Таких сетований немало в его письмах. Гончаров ясно сознавал, что в той картине чудес, которая перед ним развернулась, в той бездне величественных и ярких впечатлений, которые на него хлынули со всех сторон, многое заслуживало бы иной трактовки — в патетическом взволнованном тоне. И тем не менее он категорически отказался от всяких притязаний на патетический стиль и романтическую тематику в своем рассказе о плавании и, несмотря на боязнь не оправдать ожидания читателя, несмотря на свою собственную неудовлетворенность, предпочел совершенно иной тематико-стилистический план повествования.

Причины этого непонятого на первый взгляд явления следует искать прежде всего в литературных позициях автора, в отчетливом понимании им недостаточности своих сил в области «повышенной» прозы.

Уже с первых шагов путешествия он начинает изнемогать от массы новых ярких и сильных впечатлений и — именно как художник — испытывает острое чувство растерянности, не зная, справится ли он со всеми ими. «Не знаю,—пишет он Майковым из Портсмута, — смогу ли я теперь сосредоточить в одном фокусе все, что со мной и около меня делается, так чтобы это, хотя и слабо, отразилось и в вашем воображении. Я и сам еще не определил смысла многих явлений моей новой жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь приискать ключ к ним, а если не нахожу, то стараюсь осветить их светом своего воображения» — «Материалов, т. е. впечатлений, бездна, не знаю, как и справиться,—замечает он позднее, — времени недостает, а если откладывать — пожалуй выдохнется. Жалею, что писал вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записи и потом все это прочесть вам вместе, а теперь вышло ни то, ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом большую часть событий я обязан вносить в общий журнал — так и не знаю, выйдет ли что-нибудь. Впрочем постараюсь: одна глава написана — это собственно о море и качке (1-я часть II главы — Атлантический океан и остров Мадера). Читал — смеялись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще не дотрагивался. Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я все воображаю на своем месте более тонкое перо, например, Боткина, Анненкова и других — и страшно становится. Зачем же я поехал. Другой на моем месте сделал бы гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить, а это хорошо где-нибудь в Европе, а не вокруг света. А тоска-то, тоска-то какая, господи твоя воля, какая. Бог с ней и с Африкой. А еще надо в Азию ехать — (писано с м. Добр. Надежды), — потом заехать в Америку. Я все думаю: зачем это мне. Я и без Америки никуда не поеду: из всего, что вижу, решительно не хочется делать никакого употребления; душа, наконец, и впечатлений не принимает. Как бы это пригодилось другому».

Если оставить в стороне отзвуки ипохондрических настроений, прорывающихся в последних фразах, да преувеличенную оценку «пера» Боткина и Анненкова, — смысл этих признаний совершенно ясен. Гончаров сам отлично учитывал сильные и слабые стороны своего литературного дарования. Он знал, что спокойное, слегка ироническое, шутливо добродушное описание наиболее далось ему. Но точно так же он давал себе ясный отчет, что много и много впечатлений кругосветного плавания не может уложиться в рамки такого описания, что для них нужна и беспокойная героическая тематика и повышенный эмоционально напряженный стиль. Поэтому-то он говорит, что с его преобладающей «способностью «рисовать и шутить», пожалуй далеко не уедешь, что с этим хорошо где-нибудь в Европе, а не кругом света.

И снова Гончаров был совершенно прав. В силу особого характера его творческого сознания «патетическое» давалось ему чрезвычайно трудно. Об этом свидетельствуют не только признания его интимных писем, не только его рукописи, но и своеобразная трактовка проблемы творчества в третьей части его трилогии²³.

Крупосветное путешествие поставило Гончарова перед такой, отчетливо осознанной им антитезой: с одной стороны, его художественная манера, выражающаяся прежде всего в умении «рисовать и шутить», с другой — героический поход, исполненный лишений и опасностей, изнурительных трудов и самоотвержения, преданности долгу; суровая и тревожная жизнь на военном корабле, скрывающемся под вечной угрозой развалиться от дряхлости по трем океанам, сквозь штормы и туманы, иногда сквозь строй врагов к таинственным берегам «тридцатого государства», грандиозные картины тропической природы, стоянки в экзотических портах с экзотическим цветным населением, бесконечная смена климатов, стран, ландшафтов, народов и пр., и пр.

Казалось бы, что перед нами две величины почти несоизмеримые. И действительно: с теми литературными данными, которыми располагал Гончаров, он не мог отважиться на попытку оформить все это в естественно напрашивающемся лири-

ко-патетическом плане, не мог создать той романтической эпопеи, которой от него требовали как современный ему читатель, так и позднейшие критики.

Ему приходилось, с риском заслужить неодобрение тех и других, искать какого-то иного плана, иной тематической и стилистической установки, которая более соответствовала бы его силам и принципам его творческого восприятия жизни.

И можно только удивляться той быстроте, с какой он ориентировался в стоящей перед ним чрезвычайно трудной и сложной задаче, и той оригинальности, остроумию и пронизательности, с какими он разрешил ее.

«Вы требуете чудес, поэзии, огня, жизни и красок», — обращается он к читателю. — Вы запаздываете со своим требованием — отстаеете от века.

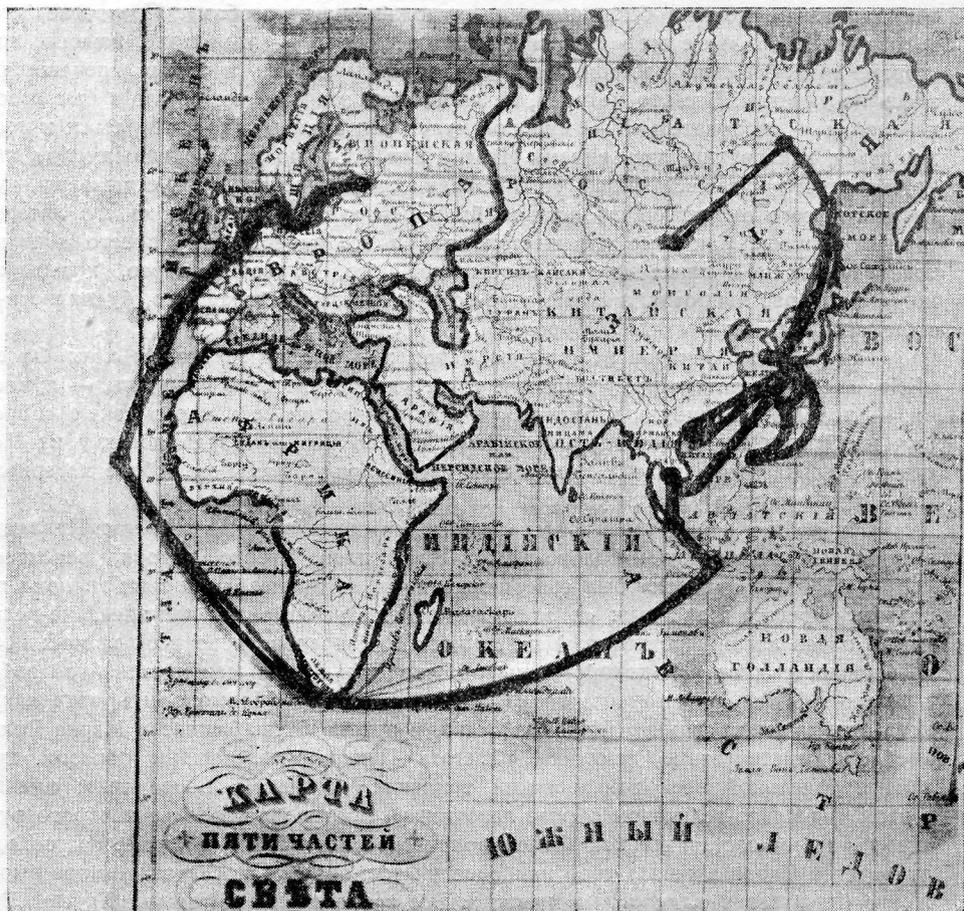
«Их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень. Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан — на Мадере и островах Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан на мыс Доброй Надежды малайцев, индусов и... англичан в Малайском архипелаге и Китае. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве... Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах... А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное... Все так обыкновенно, все это так должно быть».

Ну, а само путешествие? спросите вы. «Не величавый образ Колумба и Васко-де-Гама гадательно смотрит в даль, в неизвестное будущее; английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом да русский штурман с знаком отличия беспорочной службы указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит в «безбрежную даль» океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии. Гостиницы отличные, — отвечают ему: — на Сандвичевых островах найдете все... В Австралии есть кареты и коляски, китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят все по-английски; американские дикари порываются в Париж и Лондон, просят в университет... Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольцо удава или в когти тигра и льва... Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства»...

А вот тот центральный образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. «И какой это образ. Не блистающий красотой, не с атрибутами силы, не с искрой демонического огня в глазах, не с мечем, не в короне, а просто в черном фраке, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями... Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чая, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающим народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой».

Здесь дана совершенно оригинальная исходная «установка» кругосветного путешествия. Оно берется не в плане героического похода или тяжелой экспедиции, а в плане «успехов мореплавания». «Путевые заметки» должны поведать читателю не об опасностях и приключениях долгого плавания, не о «чудесах и тайнах» волшебной дали, но прежде всего о распространении европейской цивилизации по всему миру, о разительных завоеваниях труда и техники, о постепенном превращении путешествий вокруг света в комфортабельно-обставленную спокойную прогулку; они должны рассеять смутные представления широкой публики о какой-то недоступности, загадочности и таинственности тропических стран;

показать, что уже не осталось ничего недоступного, ничего чудесного и таинственного, что, напротив, все становится обыденным, знакомым и привычно доступным, что все подходит под один и тот же общеевропейский «прозаический уровень». В центре повествования оказывается уже не само путешествие с его невзгодами, лишениями и страхами, с «бездной» острых, необычайных впечатлений и переживаний, с его «поэзией» и «красками», а упорный труд человека, его отвага и предприимчивость, покорившие ему весь мир, сделавшие этот мир его при-



МАРШРУТ КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ ФРЕГАТА «ПАЛЛАДА»

Военно-Морской Музей, Ленинград

вычным достоянием. И с этой точки зрения совершается своеобразная переоценка всего наличного материала наблюдений и впечатлений. Опасные приключения, штормы, рифы, туманы, нехватка провизии, появление на судне болезней, военные опасности отходят назад, искусно затушевываются; вперед выдвигаются все достижения, настоящие и будущие, европейской цивилизации, техники и комфорта, на которые натываешься во всех углах мира; в этом плане, действительно, тихоокеанский тайфун имеет меньше значения, нежели вопрос об отелях на Капе, о колясках в Австралии, о прачках на Сандвичевых островах и т. п., и т. п.

Именно из всей массы этих тонко подобранных и хитросплетенных мелочей и возникает тот основной бытовой фон картины, который придает ей в целом колорит безусловной и добродушной правдивости.

Но соответственно этому должно измениться и описание картин природы посещенных стран, самого океана, по которому проложен маршрут путешественников. Это уже не безбрежная таинственная даль, полная чудес и опасностей, а большая проезжая дорога; по ней спешат быстрые почтовые и пассажирские пароходы, тянутся обозы торговых кораблей, едут купцы, чиновники, военные — по своей и казенной надобности. Эта дорога хорошо изучена; тут штилевая полоса, там в такое-то время года такой-то ветер, еще дальше наткнешься на пловучие водоросли, а там увидишь сидящих на воде птиц. Сама великолепная тропическая природа также должна быть охвачена художником по-особому. Прекрасно, что и говорить, но... «все это так и должно быть», — удивление, наивные восторги, артистическая растерянность среди массы резких и новых впечатлений здесь не уместны. Все это не ново, не загадочно; все это уже вошло в быт европейской и — следовательно — мировой культуры; этим можно любоваться и восхищаться, как восхищались видами Италии или Альп, но именно характерное для кругосветного путешественника того времени ощущение новизны, странности, чудесности всего окружающего должно быть осторожно устранено из его литературных записок. Как само путешествие, так и все впечатления от него должны трактоваться не в плане чего-то необыкновенного, исключительного, неожиданного, а как раз напротив, в плане чего-то привычного, всегдашнего, будничного — безразличного «прозаическом уровне».

Так решает Гончаров возникшую перед ним как перед певцом хотя бы ex officio «похода» литературную задачу. «Мое умение рисовать и шутить, — думает он, — хорошо где-нибудь в Европе», — так превратим весь мир в такую «Европу», изобразим кругосветное путешествие, словно какую-нибудь поездку из Москвы на Кавказ, из Парижа в Рим; в этом плане при тщательном отборе материала мне, быть может, и удастся уложить все в «шутливый рисунок».

А в то же время такая литературная установка вводила «Фрегат Палладу» в знакомый Гончарову идеолого-тематический план. Строго говоря, рецензент «Отечественных Записок» был совершенно прав, когда не без иронии говорил по поводу «Фрегата Паллады»: «и здесь нас преследует все тот же идеально-величавый образ лавочника, который не покидал г. Гончарова и во всех прочих произведениях его, во имя которого он вооружался и против сентиментальной взбаломочности [sic!] Адуева-племянника, и против спячки Обломова, и против наивного эстетического эпикурейства Райского, и против бесшабашности Марка Волохова»²⁴. Действительно, тематика «Фрегата Паллады» теснейшим образом связана с тематикой всей гончаровской трилогии²⁵ в целом. Более того: именно в этом «идеально-величавом образе лавочника», противопоставление которого русскому барину составляет как бы символическое выступление к описанию похода от берегов Европы, нашла свое наиболее чистое, яркое и последовательное выражение буржуазная идеология Гончарова. Все гончаровские Штольцы, Адуевы, Тушины — действительно отвлеченные, бледные, неполно развитые характеры, вовсе лишенные конкретной жизненности и убедительности. Но если все эти опыты построения новых характеров не увенчались успехом, то развертывание относящихся сюда тем и идей на материале «очерков путешествия» было проведено Гончаровым с исключительным блеском.

Таким образом в «Фрегате Палладе» мы находим одну из основных тем гончаровского творчества вообще.

Как мы уже видели, в «Фрегате Палладе» весь «дальний вояж» показан с точки зрения тех огромных достижений, которых успел уже добиться человек на путях покорения себе всего земного шара, а не с точки зрения тех тягостей, опасностей и страданий, которые выпадают еще на долю путешественника. В этом плане все тяжелое и опасное плавание преподнесено читателю как приятная и безопасная прогулка, и условная литературная установка так искусно замаскирована «правдивым до добродушия» рассказом, что читатель остается вполне убежденным в фактической верности повествования.

Однако такой переоценки и перемещения объективно данных впечатлений и

фактов было еще недостаточно для построения книги путевых записок. В литературном описании путешествия огромную роль в качестве организующего фактора играет образ самого путешественника, около которого размещается вся система объективной тематики. И в соответствии с этим Гончарову пришлось искать и новую центральную фигуру для своего произведения.

Само собой разумеется, что, переводя свой «дневник» в чисто литературный, оторванный от действительности план, он не мог оставить себя самого в своем, так сказать, натуральном виде, в качестве главного действующего лица повествования.

Образ путешественника необходимо было подвергнуть той же условной стилизации, как и все остальное. По отношению к целому записок как чисто литературному произведению, он должен был сыграть роль центрального персонажа; по отношению же к самому Гончарову, который ведь не сочинял и не фантазировал, сидя у себя в кабинете, но описывал в конце-концов события, им пережитые, и впечатления, им испытанные, образ этот явился художнической маской.

Совершенно ясно, что если «успехи цивилизации» должны были составить главную тему путевых очерков, то и сам путешественник должен был уделять им очень много внимания. Не в теоретическом плане: тогда бы очерки сделались научным исследованием исторического характера; а именно в практически-бытовом—в своем личном экспедиционном обиходе путешественник должен быть чувствителен к комфорту, непосредственно заинтересован в удобстве отеля и коляски, лично озабочен вопросами о прачке, о прислуге и пр., и пр. Необходимо, чтобы все путешествие как бы переломлялось для него сквозь призму повседневного быта, чтобы этот последний всегда служил для него основным фоном картины. Только тогда может выступить на передний план тот общеевропейский «прозаический уровень», в тематико-стилистических рамках которого строится весь рассказ, и в то же время окажется возможным избежать введения в повествование дисгармонирующих патетических картин: отвести, например, описание шторма словами: «безобразие, беспорядок».

А вместе с тем по вполне понятным причинам этому «герою» путешествия нельзя было придавать черт сухого практицизма и деловитости, представлять его равнодушными к поэзии и красоте «дальних странствий». Мелкие заботы и тягости бытового характера должны были сыграть столь значительную роль в его страннической жизни не в силу прозаизма и практицизма его натуры, а по причинам как раз обратного порядка: в силу его непрактичности, его житейской беспомощности и избалованности.

Именно вокруг такой фигуры поэтически настроенного и исполненного добродушного юмора, но крайне избалованного, крайне чувствительного к мелким удобствам повседневного быта, в то же время беспомощного и озабоченного разными житейскими мелочами человека и было легче всего ориентировать «прозаически» стилизованный рассказ о путешествии вокруг всесветной Европы. Отлично подходя друг к другу, оба эти образа, обе основные тематические линии, тесно сплетаясь друг с другом в сложной системе повествования, сообщали ему глубокое внутреннее единство и тон убедительнейшей правдивости.

Так, со страниц «путевых очерков» Гончарова встает излюбленный образ его романов. «Я не отчаиваюсь, — замечает он в письме к Языковым, — написать когда-нибудь главу под названием «Путешествие Обломова», там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десять раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, по Филиппе и т. п. Несколько позднее, отправляя к Маяковым большое письмо, почти целиком вошедшее в печатный текст очерков, он так заканчивает его: «Вот письмо к концу, скажете вы, а ничего о Лондоне, о том что вы видели, заметили. Ничего и не будет теперь. Да разве это письмо. Опять — не поняли. Это вступление (да еще не предисловие; то еще впереди) к Путешествию вокруг света, в 12 томах с планами, чертежами, картой Японских берегов, с изо-

бражением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании И. Обломова.»

Таким образом сопоставления документальной истории экспедиции с частными письмами Гончарова из плавания достаточно убедительно показывают: 1) что Гончаров, еще не трогаясь в путь, уже искал и нашел литературную форму для будущих очерков; 2) что эта литературная форма теснейшим образом связывает «Фрегат Палладу» с его трилогией, и 3) что раскрыть внутренний смысл и литературное значение этого произведения можно только путем сравнительного анализа его тематики и стиля с тематикой и стилем трилогии в целом. Иначе говоря, вместо того чтобы толковать это произведение в плане биографической характеристики самого Гончарова, историк литературы должен прежде всего выяснить, как преломились здесь на почве материала путешествия те же тематико-стилистические задания, которые являются преобладающими в гончаровском творчестве вообще.

Глубокая внутренняя связь тематики «Фрегата» с тематикой «Обломова», которую подчеркивает в шуточной форме и сам автор, совершенно очевидна и не требует дальнейших пояснений. И здесь и там одно и то же противопоставление: трезвой, реалистической, деловой идеологии «лавочника» — «обломовщины»: очень сложному сочетанию высоких романтических требований с психологией вырождающегося дворянского барства... Только взаимоотношение между обоими членами противопоставления различно. В романе весь передний план занят великолепно осуществленным образом барина, а лавочнику отведено место на втором плане, в качестве довольно бледной эпизодической фигуры, смутно и неясно обрисованной. В «очерках путешествия», напротив: образ лавочника вырастает до «идеально величавых» размеров, а путешественник показан очень скромно.

Но рядом с этим центральным кругом обломовской тематики в «Фрегате» легко вскрывается иной тематический слой, имеющий непосредственное отношение к «Обрыву» и прежде всего к проблеме «художника». И этот тематический ряд тем более интересен, что он дан не только в своей, так сказать, отвлеченно-теоретической форме, но и реализуется практически, в самом произведении, определяя его поэтику и стиль.

Если Обломов, стоя на почве романтического мировоззрения, ищет в жизни готовых, прекрасных форм, органически не понимая, что такие формы не даются готовыми, а вечно создаются вновь, в процессе непрестанного творчества, труда и борьбы, — то его младший брат, «художник» занимает аналогичное положение по отношению к искусству. Подобно тому, как Обломов ищет для себя «жизни-романа», ибо «жизнь и поэзия — одно», точно так же Райский ищет своего романа в жизни, т. е. гонится за прекрасным, даваемым действительностью, в свою очередь не сознавая, что дело художника в том и заключается, чтобы не искать «готовых красот», но воплощать в прекрасном художественном произведении самые разнообразные впечатления жизни. Отсюда безмерное ослабление напряженности самого творческого процесса. Ведь для Райского речь идет уже не столько об поэтическом преобразовании наличного опыта, сколько об отыскании готового прекрасного в жизни. А в связи с этим ему оказывается совершенно непонятной проблема художественного мастерства. Он не может одолеть техники того или иного искусства не по недостатку преданности ему или из-за высокомерного презрения к черной работе. Ему прежде всего совершенно чуждо переживание творческого становления художественного произведения, в процессе которого эстетически безразличный материал превращается в «прекрасное создание». Прекрасное представляется ему как бы в готовом виде, в качестве «поэтических явлений жизни» в начале работы, и оно же подсказывается ему услужливым воображением как ее итог. Он знает прекрасное только как начало и конец творчества, но не постигал его чудесного возникновения из безобразного и безформенного материала. А не постигая этого, он не мог понять и всей значительности мастерства, которое одно только дает художнику власть и господство над этим материалом.

Представители одной и той же социальной группы, исповедники одного и того же мировоззрения — романтизма тридцатых—сороковых годов и Обломов и Райский являются один—гри всем своим уме, духовной силе и голубиной чистоте — ничтожеством в жизни, а другой — несмотря на весь свой талант и пыл, — диллетантом в искусстве. Как преломилась обломовская тематика в «очерках путешествия» мы уже видели, но и тематика «Обрыва» (точнее, первой редакции романа, когда он был только «художником») нашла себе тут яркое выражение. Именно в этом произведении Гончаров направляет самые сокрушительные удары на эстетику Райского, а сквозь нее и на всю художественную идеологию романтизма. Он самым решительным образом восстает против поисков худож-



КОМАНДНЫЙ СОСТАВ ФРЕГАТА «ПАЛЛАДА»

В первом ряду пятый слева — И. А. Гончаров
Военно-Морской Музей, Ленинград

ником «особо поэтических» впечатлений: именно для поэта нет и не должно быть никаких готовых форм ни прекрасного, ни безобразного, а все является одинаково материалом для творчества, одинаково ценным объектом поэтического пересоздания и оформления.

«— Ну, что море, что небо? какие краски там (в тропиках)? — слышу я ваши вопросы. Как всходит и заходит заря? Как сияют ночи. Все прекрасно — неправда ли». — Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас, в хороший летний день... Вы хмуритесь. А позвольте спросить, разве есть что-нибудь не прекрасное в природе. Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее — и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере, со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой:

как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину. Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз запечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления. Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет через Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновение разольется туман и потом внезапно озарится отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуга и изумруды...»

«Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не уходите за ними под тропики»: — они у вас под рукой, повсюду, где есть хотя бы капля жизни. Этот по существу глубоко иронический совет целиком направлен против романтической традиции в жизни, в искусстве, в поэтике. Не ищите готовых эстетических форм, художественных штампов, освященных многовековым культурным опытом; не противопоставляйте высокомерно «бледным образам» окружающих вас будней «праздничных и поразительных явлений»; не отвертывайтесь с пренебрежением от песчаного косогора («Люблю песчаный косогор...» — Пушкин) и мелкого кустарника ради снеговых вершин и тропических пальм. Именно, как поэты, вы не имеете на это никакого права. Все это: и пальмы, и пропасти, и рытвины с кочками — одинаково служит материалом для художника, преломленное в художественном творчестве может быть одинаково поэтически ценным. Воспринятые писателем впечатления эти — будничные и бледные, праздничные и поразительные безразлично — одинаково поступают в «капитал» высокой, артистической жизни, образуя тот фонд, откуда без конца будет черпать свой материал художественное творчество. И это последнее только тогда и заслуживает своего имени, когда пренебрегая готовыми штампами традиционного эстетического созерцания, «возводит в перл творения» эстетически незаметное и бледное.

Но будучи прямым вызовом романтической традиции, это поэтическое сredo налагало в то же время тяжелые обязательства и на самого Гончарова. Если, с одной стороны, оно требовало самого напряженного творческого внимания к серым и будничным явлениям действительности как достойному объекту эстетического оформления, то, с другой стороны, оно воспрещало подходить к эффектному, праздничному, экзотическому именно в плане его эффектности и красоты, т. е. воспринимать его в оценках традиционного эстетического опыта, ибо эти оценки должны быть признаны условными и внешними по отношению к самой сущности созерцаемого явления. В самом деле: навязывая объекту уже на первых ступеньках художественного созерцания признаки поразительного, необычайного, красивого, художник уже тем самым налагает на это явление некую готовую форму, т. е. вкладывает в него известное содержание, подказанное традиционным эстетическим канонам. Но тем самым индивидуальная, внутренняя форма, которая потенциально задана в созерцаемом явлении, не может свободно раскрыться и принять ясные и отчетливые очертания; ее подавляет и заслоняет привнесенная условная форма.

Подобно тому, как живописец, изображая лицо, которое он считает безусловно прекрасным, т. е. подходящим под его эстетический канон, должен прежде и больше всего позаботиться о передаче «не красивого» в нем, т. е. взять его вне этого канона, точно так же необходимо поэт должен остерегаться искать опоры для творческой трактовки объекта в его «поэтических» элементах. «Краси-

вое» и «поэтическое» придет само собой; если же художник упустит то, что в данном явлении не подчиняется никакому эстетическому канону, то его создание утратит свою конкретно индивидуальную форму и превратится в условный эстетический штамп. Искусство должно уметь освободить объект творчества от всех эстетических оценок, которые невольно навязываются ему культурной традицией, чтобы проникнуть к заложенной в нем действительно своеобразной и поразительной, индивидуальной форме.

Гончаров тщательно избегал трактовать «праздничные и поразительные явления» именно в их экзотике, напротив он напряженно стремился постичь формы их как бы прозаического, будничного бытия для себя, а не того условного великолепия, в котором они предстояли сознанию, воспитанному в определенных эстетических традициях.

И для разоблачения их «бытовой», если можно так выразиться, сущности, он прибегал к чрезвычайно своеобразному приему применения к ним формул и схем бытовой трактовки привычных для него явлений русской действительности. Этим приемом достигалось разрушение их условного эстетического оформления и облегчался доступ к их имманентной форме. Вот как он описывает плавание в атлантических тропиках:

«В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уже высоко; жара палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь смотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настеж окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уже отобедали (они обедают рано: до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песни; с бока слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый умом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы...

Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба, и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной.

Описание открывается неожиданным и смелым сравнением фрегата в океане со «степной русской деревней». Этим определяется дальнейшее развитие темы разом в двух семантических планах; с одной стороны: маркиза над балконом, стрекозы в поле, рожь, гумно; с другой: вода из океана, тент, каюты, матросы, пушки; иногда оба плана сливаются: стук молота в кузнице, пенье петухов,— закрепляя тем самым единство целого.

В итоге получается полное разрушение традиционного художественно-эстетического штампа и создается бытовая, будничная установка для характеристики тропического дня.

В дальнейшем сопоставление обрывается: палуба («улица», как любит говорить Гончаров) показана в ослепительном сверкании тропического солнца. Но тон задан, и повествование разворачивается в спокойном, бытовом плане. Однако постепенно в него начинают вступать новые мотивы, окрашенные специальным «местным» колоритом; эмоциональная напряженность описания медленно повышается, и отрывок заканчивается великолепной картиной солнечного заката и тропического звездного неба, выдержанной в патетических тонах. Это обычное построение описания Гончарова. Подходя к незнакомому, поразительному явлению, он прежде всего стремится созерцать его в его будничном, повседневном бытии,

настойчиво отстраняя тот аспект, в котором оно предстает сознанию путешественника, воспитанного в определенных художественно-эстетических традициях. Так же построен рассказ о жизни в Welch's Hotel на Капе с его прелестным лирическим заключением: «Долго мне будут сниться широкие сени, с прекрасной «картинкой», крыльцо с виноградными лозами...»; описание Анжера с его мелочной лавочкой: «Представьте себе мелочную лавочку где-нибудь у нас в уездном городе: точь-в-точь в Анжере. И тут свечи, мыло, связка бананов, как у нас связка луку, потом чай, сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркала...» — и ее патетическим финалом: «Что за вечер! Это волшебное представление...»

Аналогичный же прием можно встретить в очерках Сингапура, Бонин-Сима, Маниллы (Люсонг — «уездный город») и т. д., и т. д.²⁸ Исклечение, пожалуй, составляет картина Ликейских островов. Соблазненный примером Базиля Галля (давшего первое описание этих островов), Гончаров рисует ее в эффектном идиллическом плане. Однако — и это очень характерно для его манеры — он тут же сознательно разоблачает «литературность» рассказа ссылками на Феокрига, Гесснера, Дезульер, чтобы в конце-концов, опираясь на авторитет местных миссионеров, опорочить и его фактическую достоверность.

«Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики — советовал Гончаров своим романтически настроенным друзьям. А если пойдете туда, мог бы он прибавить, — не увлекитесь эффектной, парадной стороной встреченного; старайтесь понять явление в его независимом, повседневном существовании, ищите его имманентной формы; остальное придет само собой. Для Гончарова действительно остальное пришло само собой, но нигде, быть может, высокая плодотворность его точки зрения не проявилась с такой силой, как в изображении людей различных рас и культур, которых он встретил в своем долгом странствии.

Эта задача была, пожалуй, одной из самых трудных: ибо для него речь шла здесь не о том, чтобы, используя внешние эффекты, «живьем отпечатать»²⁷ экзотические типы различных народностей, а, напротив, в том, чтобы, по возможности отстраняя эпатажирующую в своей причудливости этническую маску, разглядеть под ней прежде всего знакомое человеческое лицо, угадать и выявить общечеловеческие черты характера, — все то, что обычно ускользает от взора соблазненного внешностью путешественника и чего вовсе не хочет знать лавочник-колонизатор. И в исполнении этой задачи он идет своим привычным путем.

Прежде всего он стремится наблюдать этих новых для него людей в самых незатейливых, простейших явлениях их быта. И заглядывая в эту серенькую, будничную сферу жизни, он жадно ловит все проявления общечеловеческих чувств и слабостей, где бы они ни встречались. В этом отношении от его поистине изумительной наблюдательности не ускользает решительно ничего. Обида старой негрятки в Порто-Прайя и гримаса английской мисс, порезавшей себе пальчик; забавные страстишки кучера в колонии, наглый хохот черных женщин, сладострастные ужимки бредущегося китайца, азарт тагала, кокетливые взгляды мулатки, вороватость черных мальчишек, важность китайского богача — все «находило почетное место в его фантазии, все поступало в капитал тех материалов», из которых складывались потом такие живые и человеческие образы встречных людей.

А в то же время он настойчиво пытается уничтожить тот налет театральности, который неизбежно присущ впечатлениям путешественника от чуждых ему и причудливых явлений. Подобно тому, как ему хотелось взглянуть на связку бананов, так, как он смотрел бы на связку луку в деревенской лавочке, точно так же во что бы то ни стало хочет он наблюдать негров, малайцев, лунинцев, тагалов, китайцев не как представителей экзотических рас именно в их экзотической своеобразности, а просто как людей, живущих в определенных условиях, работающих, страдающих, радующихся и т. д., и т. д. — словом, в их имманентно бытовой давности.

С этой целью он и по отношению к ним пользуется приемом сопоставления с русскими бытовыми явлениями или смелого применения нарочито бытового

И. А. ГОНЧАРОВ

Фотография с дарственной надписью
И. А. Гончарова А. А. Краевскому,
10 марта 1856 г.

Институт Русской Литературы,
Ленинград



И. Гончаров

А. А. Краевскому

10 марта 1856

русского словаря. Перед нами снова своеобразная игра образов: негритянка и старуха-крестьянка, загорелая, морщинистая, с платком на голове; играющие в карты негры и уездная лакейская; почесывающийся тагал и русский простолюдин; китайский рынок в Шанхае и наша толкучка и т. д. А рядом с этим и просто: негритянская баба, китайские мужики, парень-тагал, шинок в Фунчале, харчевня в Шанхае и т. д., и т. д.

Было бы большой наивностью относить все это за счет самого Гончарова, как личности, строить всякие догадки об узости его природы и о неспособности его выйти за пределы привычных созерцаний родной Обломовки. Само собой разумеется, что здесь мы имеем дело с вполне сознательным приемом разрушения условной театральности в переживании нового и поразительного с целью вскрыть общечеловеческое, стоящее за этнической маской, и тем обусловить возможность построения конкретного характера.

Гончаров решительно отказывался «ловить кого-либо на улице» и «отводить», если не в тюрьму, так в музей. Действительно, у него почти нельзя найти музейных экспонатов, этнических масок во всей экзотичности их облика и наряда. Но зато в его очерках перед читателем проходит целая вереница живых человеческих образов, с индивидуальным характером, неподдельным своеобразием общего облика, с печатью личности. Вот негритянская красавица и безобразная старуха из Порто-Прайя, вот очаровательная мисс Каролина, проворный слуга Ричарда, веселый Вандик, бледная Этола со своими «two shillings» и много, много других. Огромная галерея человеческих лиц, изображенных иногда двумя-тремя штрихами, но всегда живых, всегда индивидуальных, характерных и своеобразных.

Так словом и делом, отвечает Гончаров в своем «Фрегате Палладе» на условный романтический эстетизм, дилетантскую погоню за готовыми красотами, на упорные, но безнадежные попытки извлечь свой роман, свое искусство из «поэтической стороны жизни», с презрением отворачиваясь от ее «будней». Этим воззрением он противопоставляет теорию подлинного художественного творчества, возводящего в «перл создания» эстетически безразличные и неформленные явления действительности, и на восторженные мечтания о пропической экзотике иронически приглашает найти прекрасное в серенькой природе петер-

бургских болот, беспощадно обрушиваясь на один из краеугольных камней романтизма — теорию *coûleur locale*, против которой он выдвигает требование рассматривать все «необычное», экзотическое именно в его обычности, в его прозаическом, будничном бытии. И подобно тому, как превращая исполненную опасностей, трудов и лишений экспедицию в приятную прогулку по трем океанам, он снижает романтический пафос экспедиционной жизни, точно так же своими художественно стилистическими заданиями он сводит на-нет романтический пафос в описаниях природы и обитателей тропиков. Здесь оба тематических круга — круг обломовской тематики и тематики художника Райского — замыкаются в крепком творческом единстве, обеспечивая в то же время органическую цельность и внутреннюю завершенность очерков как художественного произведения.

Теперь остается только подвести некоторые итоги. Мы видим, что «Фрегат Паллада» — прежде всего литературное произведение, в основе которого лежит определенный художественный замысел и которое преследует цели, далеко выходящие за пределы бесхитростного и правдивого описания путешествия. Как и все три романа Гончарова, оно направлено против художественных и бытовых традиций русского романтизма тридцатых и сороковых годов. Его тематика предваряет в этом смысле основные темы трилогии, а его стиль в значительной мере предопределяется такими эстетическими принципами, которые звучат резким вызовом романтической поэтике. Более того: в известном смысле эта книга является едва ли не самым полным и завершенным произведением Гончарова, где с особенной ясностью вскрывается основная задача всей его литературной деятельности: задача преодоления романтизма. Ибо не нужно забывать, что Гончаров, основные произведения которого были задуманы и в значительной части уже написаны в период с конца тридцатых до середины пятидесятых годов и который в значительной мере является литературным предшественником, а не современником великих прозаиков: Тургенева, Достоевского, Толстого — именно в романтизме видел своего главного врага. Однако — и это сообщает его произведениям исключительный интерес — он рассматривал романтизм не как чисто литературное направление, но широкое культурное явление, социальные корни которого он пытался выяснить. Поэтому-то он и стремился противопоставить этой идеологии оскудевающего дворянского класса новое реалистическое и жизненно действенное мировоззрение, которого он искал отчасти в силу своего происхождения («из купцов», как отмечалось в его формуляре), главным же образом в силу объективно-исторических причин у представителей крепнувшего русского буржуазного сознания²⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кроме цитированной ниже литературы мною были использованы следующие дела, хранящиеся в Историческом отделе архива б. Морского министерства: 1) об отправлении в заграничное плавание фрегата «Аврора» и о замене оного фрегатом «Паллада». Дело Инсп. д-та за № 257; 2) об экспедиции фрегата «Паллада» под начальством адм. Путятина для осмотра берегов русских колоний в Америке. Воен.-походн. по флоту канцел. за № 138/75; 3) Путятин — об инструкции, данных при отправлении в кругосветное путешествие. Воен.-походн. канц. секрет. по сдаточн. описи № 3; 4) плавание фрегата «Паллады» и шхуны «Восток». Инспект. д-та № 326 (1853 г.); 5) И. А. Гончаров. Назначение его секретарем при ген.-адм. Путятине. Инспект. д-та № 257; 6) по предмету заключения с японским уполномоченным трактата в г. Сямоде и с запиской о действиях ген.-адм. гр. Путятина. Канцел. Морского м-ва № 14835; 7) всеподданнейшее донесение гр. Путятина о плавании фрегата «Паллады» и других судов. Гидрограф. д-та № 40; 8) о разрешении морским офицерам, участвовавшим под начальством гр. Путятина в дальнем вояже, поднести бывшему начальнику картину или портрет. Канцел. морского м-ва № 15437.

² Формуляр «Паллады» см. «Список русских военных судов с 1668 по 1868 гг.». СПб., 1872, стр. 107.

³ К. Н. [Посет]. Записки с кругосветного плавания. — «Отечественные Записки», т. ХСIX, стр. 2.

⁴ «Паллада» вышла на рейд 25 сентября, а снялась с якоря 7 октября 1852 г.

⁵ Письмо молодого мичмана [П. П. Анжу] к своим родителям с острова Мадеры от 22 января 1852 г. — «Морской Сборник», 1853, т. IX, стр. 323 и сл.

⁶ Для описания шторма см. Шханечн. журнал, ч. I (1853), л. 138; Рапорт Путягина ген.-адмир. от 1/13 июня, 1853; К. Н. Посьет, О плавании «Паллады», Морск. сб. 1853; т. X, стр. 243; Замеч. о шторме, выдержанном фрегатом «Палладой», там же, т. XX, 1856, № 2.

⁷ Отчет о плавании фрегата «Паллада». — «Морской сборник», 1856, т. I, стр. 139. Балтин, А. Шторм в Восточном океане, выдержанный фрегатом «Палладой». Морск. сб., 1855; кн. 7, стр. 7; см. так же литературу, указан. в прим. № 6.

⁸ В Портсмуте Английское адмиралтейство заранее распорядилось о вводе «Паллады» в док, размещении команды и пр.; в Саймонс-Бее оно простерло свою любезность до того, что снабдило команду всем необходимым из своих складов, по казенной расцевке.

⁹ Командор Перри вышел из Норфольта 24 июня 1852 г. и прибыл в залив Иедо, в местечко Урга 7 июля 1853 г. Часть его эскадры шла мимо мыса Доброй Надежды.

Ср. J. Foster. The American Diplomacy in the Orient. Bost. 1904, p. 146. Об экспедиции Перри, увенчавшейся полным успехом и сыгравшей огромную роль в жизни Японии, см. Hawks, Narration of the Expedition of an Amer. Squadron to the China and Japan n. t. com. of com. M. Perry. N.-Y. 1856; W. Heine. Reise um die Welt nach Japan. 2 Bände. L. n. N. J. 1856 г.

Heine должен был быть Гомером американского похода, как Гончаров Гомером русского; сравнение их записок наглядно показывает всю разницу между добросовестным рассказом журналиста и «путешественно-романом» Гончарова. См. далее: Mossman, New. Japan, Ind. 1873, chp. I—III; L. Rosny, Etudes asiatiques, ch. XVI; E. Freisinet. Le Japon, v. II, 473—519.

¹⁰ Отзыв Бурбулона, французского посла в Китае. См. A. Cordier, Le premier traité de la Fréche avec Japan, Tonng-Pao, 1912, III, 218.

¹¹ Из дневника В. А. Римского-Корсакова. — «Морской сборник», 1896, т. II, стр. 173.

¹² И. А. Гончаров. Два случая из морской жизни. — «Подснежник», 1856, № 2—3.

¹³ И. А. Гончаров. Через двадцать лет. — Собр. соч. изд. Маркса, 1912, т. VIII, стр. 270. Далее везде цитируется это издание.

¹⁴ H. Cordier. Le premier traité etc. Tonng-Pao, v. XIII, mars, p. p. 220—221.

¹⁵ «Нам объявили, что мы можем сниматься с якоря дня через четыре. Да как это? Да что же так скоро? — говорил я. — И. А. Гончаров «Фрегат «Паллада». — Собр. соч. т. VII, стр. 64.

Только во всеподданнейшем отчете, уже по возвращении в Петербург, Путягин осторожно указывает на это обстоятельство, замечает, что новый генерал-губернатор Филиппинских островов, судя по холодному сделанному ему приему, смотрит не совсем благосклонно на пребывание русской эскадры на Манилле. — «Морской сборник», 1856, т. X, стр. 62.

¹⁶ Эскадра пришла на Манильский рейд 16 февраля 1854 г., а снялась с якоря 27 февраля, пробыв на рейде всего лишь 12 дней.

¹⁷ Из дневников В. А. Римского-Корсакова. — «Морской сборник», 1896, т. IX. И. Барсуков. Граф Муравьев-Амурский, т. I, стр. 368—373.

¹⁸ Н. Г. Шиллинг. Воспоминания. — «Русский Архив», 1892, кн. 2, стр. 128—143.

¹⁹ Из дневника В. А. Римского-Корсакова. — «Морской сборник», 1896, т. IX, стр. 117. Некоторые подробности этого перехода можно найти и у Гончарова. — Собр. соч., т. VII, стр. 143—146.

²⁰ А. Вышеславцев. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857—1860 гг., изд. 2-е, СПб, 1867, стр. 262.

²¹ Ср. напр. письмо к В. В. Боткину от 26 августа 1852 г. — В. Чехихин-Ветринский. Письма Гончарова. — «Голос Минувшего», 1923, № 2, стр. 170. Как известно, Гончаров действительно едва не вернулся из Англии.

²² «Фрегат Паллада» — И. А. Гончаров. Собр. соч., т. VII, стр. 8—9.

²³ Ср. историю создания «Обрыва», как она отразилась в письмах Гончарова к Стасюлевичу, быть может наиболее искренних и откровенных из всех написанных им. — «Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V.

²⁴ «Отечественные Записки», 1879, кн. 8, стр. 261. Рецензия эта принадлежит к одним из самых замечательных высказываний о Гончарове вообще.

²⁵ Выражение, удачно воскрешенное В. Десницким. См. его статью «Трилогия Гончарова» в сборнике его статей «На литературные темы», Л., 1933, стр. 253 и сл.

²⁶ Хороший подбор аналогичных примеров, хотя без всякой попытки их литературного истолкования, см. у Н. Державина, в вступительной статье к «Фрегату Палладе», Л., 1924, стр. 29 и сл.

²⁷ Ср. замечательный разговор Обломова с Пенкиным о «журнальных письмах»: «Зачем, это они пишут...» и т. д.

²⁸ Ср. В. Десницкий, назв. соч.

ПИСЬМА И. А. ГОНЧАРОВА ИЗ ПЛАВАНИЯ

1. Е. А. ЯЗЫКОВОЙ¹

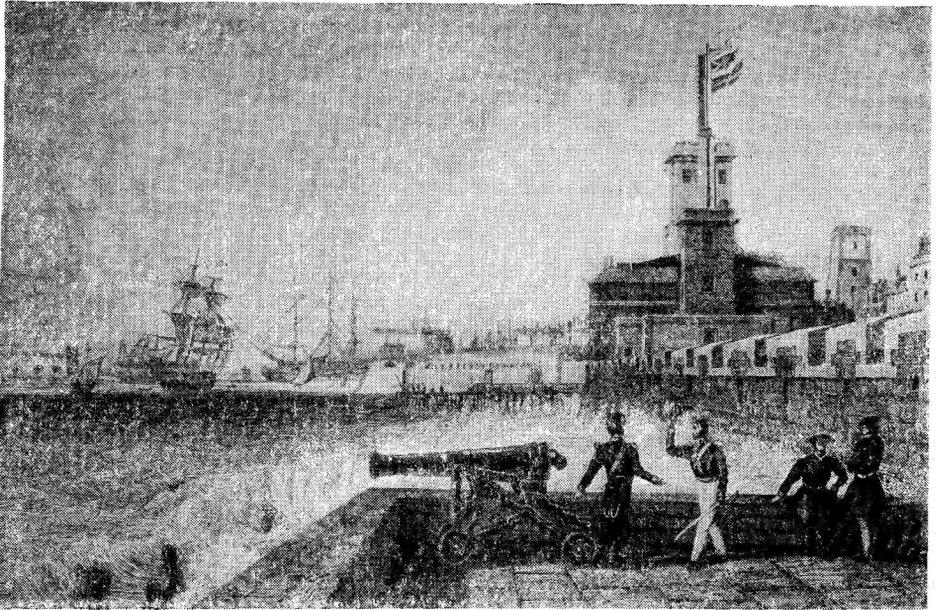
Напрасно Вы, матушка Екатерина Александровна, упрекаете меня, что я Вас забыл: в то время, когда Вы писали мне это письмо, я тоже писал к Вам, и надеюсь, что мое послание уже получено Вами. Следовательно наши письма расходятся в пути. Я очень доволен, что Вы хорошо проводите время в деревне и что откровенно сознаетесь в этом: по большей части со всех сторон слышишь жалобы на несчастья да неудачи; это большая редкость, когда кто скажет, что ему хорошо. Благодарю и за то, что вспоминаете обо мне. Только напрасно желаете, чтобы я пожил в деревне у Вас, полагая, что моя хандра должна там пройти. Анненков² правду сказал Эликониде Александровне, что я никогда, нигде и ничем бы не был доволен, что мне ни дай. Это в самом деле так. Хандра моя, как я Вам, кажется, уже писал, есть не что иное, как болезненное состояние, которому причиной нервы. Вы посмотрите на всех нервных людей: у них ум, воля и все ее проявления подчинены нервам. Оттого эти люди вдруг делаются скучны, мрачны или внезапно переходят к веселью, бог знает от чего. Это очень неудобно не только для себя, но и для других. От этого я и стараюсь и прятаться и, кроме Майковых³ да Вас, ни к кому не хожу.

А знаете ли, что было я выдумал? Ни за что не угадаете! А все нервы: к чему было они меня повели! Послушайте-ка: один из наших военных кораблей идет вокруг света на два года. Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, при чем сказано было, что между прочим нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне. Я принял хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции⁴. Но вот мое несчастье: на-днях этот начальник выехал на некоторое время в Москву и, воротясь оттуда, тотчас отправится в море, так что едва ли я успею видеть его; потом, как я узнал после, нужен человек собственно не для русского, но более для переписки на иностранных языках; а этого я на себя не приму. Впрочем мне во всяком случае советовали повидаться с начальником экспедиции и узнать от него подробнее, что нужно. Стало быть надежда не утасла еще совсем.

Вы, конечно, спросите, зачем я это делаю. Но если не поеду, ведь можно, пожалуй, спросить и так: зачем я остался? Поехал бы за тем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. Я полагаю, что если бы запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то может быть прожил бы остаток жизни повеселее. Потом, вероятно, написал бы книгу, которая во всяком случае была бы занимательна, если б я даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу. Наконец это очень выгодно по службе. Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь—я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков-двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь.

Свойство нервических людей—впечатлительность и раздражительность, а следовательно и изменяемость. Может быть я бы скоро и соскучился там, что и вероятно, мучился бы всем—и холодом, и жаром, и морем, и глушью, дичью, куда бы заехал, но тогда бы поздно было каяться и поневоле пришлось бы искать спасения—в труде.

Что скажете Вы, матушка Катерина Александровна, и вы, мой милый и добрый друг Михайло Александр., одобрили ли бы Вы эти мои намерения?



ПОРТСМУТСКИЙ РЕЙД
Современная гравюра

Евгения Петровна уж плакала, что я не ворочусь, погибну или от бури, или дикие съедят, не то змея укусит.

Но, к сожалению, это все мечты, приятный сон, который вот и кончился. Вчера я рыскал и по Васильевскому острову, и в Петергофе был, — словом объехал почти вокруг света, все отыскивая моряка, да нет, и рекомендательное письмо товарища министра лежит у меня в кармане, уже значительно там позамаслившись. — Если же каким-нибудь чудом я бы поехал, то это должно так скоро сделаться, что Вы едва ли бы и застали меня. Но кажется, мне придется не воевать с дикими, а мирно попить чаек в тихой пристани среди добрых друзей, под Невским монастырем, на заводе ⁵. Так уж пусть эти друзья едут скорее, а то право скучно.

Весь и всегда Ваш

И. Г[ончаров]

Поклонитесь Элликониде Александровне и поцелуйте детей. — Старик Щепкин ⁶ здесь играет, но я в театре не был, а слышал, как он у Корша ⁷ читал Разъезд Гоголя; кому-то хочет читать еще.

¹ Языкова, Е. А. (ур. Белавина). жена Языкова, Михаила Александровича, (ум. в 1885 г.), петербургского приятеля Белинского и большинства писателей, группировавшихся вокруг «Отечественных Записок», а позднее вокруг «Современника». В то же время он был хорошо знаком с Майковыми и их кружком. Гончаров очень любил его как веселого и остроумного собеседника и гостеприимного хозяина и был близок со всей его семьей. Элликониде Александровна Белавина — сестра Е. А. Языковой.

² Анненков, П. В. — известный литературный критик, мемуарист.

³ Майковы. Семья известного художника Николая Аполлоновича Майкова (1794—1873). Семья эта, с которой Гончаров познакомился вскоре после своего приезда в Петербург и где давал уроки детям, очень скоро сделалась для него почти родной; там он проводил свои вечера, туда шел со всеми горестями, там же

сложились и оформились его литературно-художественные вкусы. Вся семья состояла из исключительно талантливых, захваченных интересами литературы и искусства людей. Хозяйка—Евгения Петровна Майкова (рожд. Гусятникова, 1803—1880 гг.)—была выдающаяся по уму и образованию женщина и сама писательница. Аполлон Николаевич Майков—известный поэт; Валериан Николаевич Майков (1823—1847 гг.), рано умерший талантливый критик, увлекался социально-экономическими проблемами; Владимир Николаевич Майков (1826—1885 гг.), детский писатель, издатель журнала «Подснежник», и его жена Екатерина Павловна (послужившая, по семейному преданию, прототипом для Веры)—семейное прозвище: «Старик и Старушка»; Леонид Николаевич Майков (1839—1901 гг.)—академик, историк литературы, пушкинист— семейное прозвище «Бурька».

⁴ Начальник экспедиции Е. В. Путятин (1803—1883 гг.), адмирал, чрезвычайно красочная фигура; превосходный моряк лазаревской школы, православный ханжа, полуангличанин по своим вкусам, бешеный самодур, недурной дипломат нессельродовского стиля, провалившийся министр нар. просвещения—он представлял человека, уживаться с которым было исключительно трудно. Гончаров, соприкасавшийся с ним только по письменной и дипломатической части, сумел с ним поладить. Но у командира корабля капитана И. В. Унковского были с ним бесконечные столкновения, едва не закончившиеся дуэлью (на Манилле). Эти столкновения нередко создавали на фрегате тяжелую, напряженную атмосферу. О нем см. Русский биографический словарь; Остен-Сакен, Ф. Р. «Памяти гр. Е. В. Путятина»—«Известия Русского Географического общества», т. XIX, 383—394; Д. И. Завалишин «Московские Ведомости», 1883 № 300—1; Его же «Возмущение на фрегате Крейсер» «Др. и Нов. Росс.», 1877 г., № 9—11; Архив Раевских, т. II, 419 и сл.; Петриченко, «Астрабадская станция» — «М. Сбор.», 1863, № 12; Дмитриевский В. А. «Прав. Палест. Общество. Исторические записки» 1907, стр. 137 и сл.

Письмо к нач. экспедиции было от А. С. Норова (1795—1869 гг.), тогда министра народного просвещения и непосредственного начальника Ап. Ник. Майкова. Путятин, будучи близким другом Норова, обратился именно к нему в поисках литературного секретаря для экспедиции.

⁵ На заводе, т. е. на Государственном стеклянном заводе, где служил тогда М. А. Языков.

⁶ Щепкин, М. С. (1788—1863 гг.)—знаменитый актер.

⁷ Корш, В. Ф. (1828—1893 гг.)—известный журналист.

2. М. А. ЯЗЫКОВУ

23 августа [1852]

Лондон, 3/15 ноября [1852]

Любезнейший мой друг Михайло Александрович
и милая, добрая Екатерина Александровна!

После трехнедельного трудного, опасного и скучного плаванья мы наконец бросили якорь в Портсмуте. Долго было бы рассказывать все, что с нами было в это время, а было понемногу всего. Мы немножко прихватили холеры, от которой умерло трое матросов, четвертый немножко упал с мачты в море и утонул, немножко сели в Зунде на мель, но снялись без всяких повреждений, выдержали три бури, которые моряки не называют никогда бурями, а свежим и крепким ветром. Вчера втянули фрегат с рейда в тавань и будут привинчивать водо-опреснительный аппарат. Наш адмирал¹ тотчас же явился из Лондона в Портсмут, осмолтрел фрегат и нас, велел мне написать бумагу, а потом, уезжая, сказал мне, что я могу отправиться в Лондон.

Что Вам сказать о себе, о том, что разпырывается во мне, не скажу под влиянием, а под гнетом впечатлений этого путешествия? Во-первых, хандра последовала за мной и сюда, на фрегат; потом новость быта, лиц—потом отсутствие покоя и некоторых удобств, к которым привык,—все это пока обращает путешествие в маленькую пытку, и у меня так и раздаются в ушах слова, сказанные, кажется при Вас одним моим сослуживцем: *tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as bien voulu!* Впрочем моряки уверяют меня, что я кончу тем, что привыкну, что теперь и они более или менее страдают сами от неудобств и даже опасности, с которыми сопряжено плавание по северным морям осенью. В самом деле, едва мы вышли из Кронштадта, как нам прямо в лоб с дождем и снегом задул противный ветер; потом мы десять

суток лавировали в Немецком море и за противными же ветрами не могли попасть в английский канал. Между тем плавание по Финскому заливу и по Каттегату считается весьма опасным и не в такую глубокую осень.— Слава богу, что на меня совсем не действует качка: это, говорят, зависит от расположения прудо-брюшной преграды, т. е. чем она ниже расположена, тем лучше. Видно, она помещена у меня в самом брюхе, потому что меня не тошнит вовсе и голова не кружится и не болит, так что нет никакого признака морской болезни, и я до сих пор, слава богу, не знаю, что это значит. Вот что скажет океан: там, говорят, качка бросает корабль, как щепку. Но я однакож должен сознаться, что качка и на меня действует скверно, хотя и иначе, нежели на других. Она производит сильное нервическое раздражение: я в это время не могу ни читать, ни писать, ни даже думать свободно. Стараешься развлечься, забиться, зарыться в смысл фразы, которую читаешь или пишешь — не тут-то было: непременно надо уцепиться за стол, за шкаф или за стену, а то полетишь; там слышишь от толчка волны что-нибудь на палубе с прохотом понеслось из одного угла в другой; в каюте дверь и окно постоянно друг с другом раскланиваются. К этому прибавьте вечный шум, топот матросов, крик командующего офицера, свистки унтер-офицеров — и днем и ночью, вечно нужно исполнять какой-нибудь маневр, то поднимать один парус, то распустить другой, то так поставить, то эдак,—покоя никогда нет. Можно, конечно, ушам привыкнуть к этой суматохе, но голове — никогда. Я не понимаю, как я буду писать бумаги там? Это приводит меня не только в сомнение, даже в некоторое отчаяние. В качестве вояжера меня еще можно как-нибудь протащить вокруг света, но дельцом, работником едва ли! Я бы даже обрадовался, если бы какой-нибудь случай вернул меня назад, а то право совестно ехать: ни себе, ни другим пользы не сделаешь и прокатишься, высуня язык. Я был очень болен зубами: у меня ревматизм обратился, как я вижу, в хронический; если бы это повторилось еще теперь, пока мы в Англии, очень не мудрено, что я бы и воротился: и без того трудно путешествовать человеку не воспитанному с детства для моря, но странствовать больному — беда.

У нас на фрегате дня два гостил у капитана его товарищ, находящийся по службе в Лондоне, некто Шестаков². Оба они сегодня предложили мне ехать в Лондон — и вот я — в Лондоне. Часа два как приехали из Портсмута по железной дороге. С жадностью вглядывался я в новую страну, в людей, в дома, в леса, поля — потом вздремнул, когда смерклось. Отсюда до Портсмута 84 мили (1½ версты) мы ехали часа три, поезд был огромный; со всех сторон стекаются на похороны Веллингтона³ или дюка, как его просто называют здесь. Я еще здесь ничего не видал; от станции железной дороги мы промчались в кебе (каретка в одну лошадь) по лучшим улицам до квартиры Шестакова. Мне приготовлена вверху маленькая комнатка, а товарищи мои ушли к нашему адмиралу. Через час хотели зайти за мной, чтобы отправиться в таверну ужинать, потому что выехали из Портсмута, позавтракав налегке. Мне бросилось в глаза и в вагоне, и на станциях, и на улицах множество хорошеньких женщин. Это, кажется, царство их. Наконец здесь, где я теперь остановился, на целый дом прислуживает прехорошенькая девушка лет 20, miss Эмма. Меня ужас берет, как посмотрю, что она делает. Она отперла нам двери, втащила наши sacs de voyage, развела в трех комнатах огонь, приготовила чай, является на каждый звонок и теперь топает над моей головой, приготовляя мою комнату. Она же убирает комнаты, будит по утрам господ и меня, слышь, станет будить. Увидев, что мы с капитаном выпялили на нее глаза, Шестаков серьезно начал спрашивать нас не начинаем ли с ней ничего, говоря, что это здесь не водится и т. п. Мне было очень смешно. Вот, подумал я, Панаева⁴ никакими способами нельзя бы было упросить. Чувствительный Карамзин⁵ называет Англичанок м и л о

видными: это название очень верно. Но на меня эта милovidность действует весьма оригинально: как увижу милovidную англичанку, сейчас вспомню капитана Копейкина. Но вот miss Эмма спрашивает меня что-то, никак не разберу сразу, заставляю повторить себе по два и по три раза, а когда сам, ворочая всячески мой собственный и английский язык, соведу что-нибудь непонятное, она говорит мне вопросительно Sir? а когда скажу так—молчит. Во всяком случае я бы привел сюда мерзавца своего Филиппа и всех российских Филиппов посмотреть, как работают английские слуги. До завтра: идем ужинать.

Утро превосходное, не английское. Тепло как у нас в августе. Мы оставили в России морозы, а только спустились за Ревель, началось тепло, продолжающееся до сих пор, так что пальто Клеменца из толстого трико гнетет меня, как панцырь. Спал я как убитый, может быть от портера, который я употребляю ежедневно, а также и устриц: сотня стоит всего два шиллинга. Я бы написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми сопровождается вступление мое на чужие берега, но я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием путешествие Обломова: там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десять раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п. Все это происходит со мной и со всеми, я думаю, кто хоть немножко не в черном теле вырос. Пишите ко мне, пожалуйста, но пишите сейчас же, иначе письмо может быть и не застанет меня; мы пробудем недели четыре. Адресуйте так:

England, Portsmouth,
Russian frigate Pallas
To Mr John Gon...

У Вас, милая прекрасная Элликониды Александровна, целую ручки и чуть не со слезами благодарю за многие знаки дружбы и внимания: и варенье и корпия для ушей, и графин — все это оказалось чрезвычайно полезным. Я так часто и с таким чувством вспоминаю о Вас, как Вы и не поверите.

До свидания, всегда Ваш И. Гон[чаров]

Кланяюсь всем Вашим братьям и Ростовским⁶: другу моему Ав. А.⁷ скажите, что я сам не верю тому, где я. Покажите это письмо Майковым и попросите написать ко мне по этому адресу, не ожидая от меня писем; я к ним писал из Дании и буду на-днях опять писать.

О себе напишите поподробнее: что бог дал Вам и здорова ли Екатерина Александровна. Панаевым, Некрасову, Анненкову⁸ и прочим приятелям дружеский поклон.

¹ Наш адмирал... По обстоятельствам служебного и личного характера Путятин выехал в Англию один, ранее отплытия фрегата, и дождался его в Лондоне.

² Шестаков, Ив. Ал. (1820—1888), позднее адмирал. В 1852 г. находился в командировке в Англию, для заказа двух винтовых корветов для Черноморского флота. См. Общ. Морской список, т. XII.

³ Веллингтон, герцог (1769—1852), англ. полководец, победитель Наполеона при Ватерлоо, пользовался у себя на родине исключительной популярностью среди всех слоев населения. О его похоронах упоминается и в «Фрегат Палладе».

⁴ Панаев, Иван Иванович — известный писатель, соредaktor «Современника».

⁵ Гончаров имеет в виду описание Англии в «Письмах русского путешественника».

⁶ Ростовский, М. А., состоявший при канцелярии Военного министерства.

⁷ Ав. А.—Августа Андреевна Колзакова, золовка М. А. Ясыкова.

⁸ А. Я. и И. И. Панаевым, Н. А. Некрасову, П. В. Анненкову.

3. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

Портсмут, 20 ноября/2 декабря 1852 г.

Я не писал еще к Вам, друзья мои, как следует. Постараюсь теперь. Не знаю, получили ли Вы мое маленькое письмо из Дании, которое я писал во время стояния на якоре в Зунде, а если правду говорить — так на мели. Тогда я был болен и всячески расстроен, все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так чтобы это хотя и слабо отразилось и в Вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений моей новой жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь приискать ключ к ним, а если не нахожу, то освещаю светом своего воображения, может быть фальшивого, и иду путем догадок там, где темно. Теперь еще пока у меня нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения. Все это еще подавлено рядом опытов, более или менее тяжелых, немножко новых и совсем не занимательных для меня, потому для меня, что жизнь начинает отказывать мне во многих приманках на том основании, на каком скупая старая мать отказывает в деньгах промотавшему сыну. Так, например, я не постиг поэзию моря и моряков и не понимаю, где тут находили ее. Управление парусным судном мне кажется жалким доказательством слабости ума человечества. Я только вижу, каким путем истязаний достигло человечество слабого результата — проехать по морю при попутном ветре; в поднятии или спуске паруса, в повороте корабля и всяком немалом сложном маневре видно такое напряжение сил, что в одном моменте прочтешь всю историю усилий, которыми дошли до умения плавать по морям. До паров еще, пожалуй, можно было не то, что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли до того, что плаваем себе да и только, но после пароходов на парусное судно совестно смотреть. Оно — точно старая кокетка, которая наругается, набелится, подденет десяток юбок, затянется в корсет, чтоб подействовать на любовника, и на миг иногда успеет, но только явится молодость и свежесть — и все ее хлопоты пойдут к чорту. Так и парусный корабль, завесившись парусами, надувшись, обмотавшись веревками, роет туда же, крихтя, скрипя и охая, волны, а чуть противный ветер — и крылья повисли; рядом же мчится, не смотря ни на что, пароход, и человек сидит, скрестя руки, а машина работает. Так и надо. Напрасно капитан¹ водил меня показывать, как красиво вздуваются паруса с наветренной стороны или как фрегат ляжет боком на воду и скользит по волнам по 12 узлов (узел $1\frac{3}{4}$ версты) в час. «Этак и пароход не пойдет», говорит он мне. «Да за то пароход всегда пойдет, а мы идем двое суток по 12 узлов, а потом десять суток носимся взад и вперед в Немецком море и не можем, за противным ветром, попасть в канал». «Чорт бы драл эти пароходы!» говорит капитан, у которого весь ум, вся наука, все искусство, а за ними самолюбие, честолюбие и все прочие страсти расселись по снастям. А между тем все фрегаты и корабли велено строить с паровыми машинами: можете вообразить его положение и прочих подобных ему господ, которые пожертвовали лет двадцать, чтобы заучить названия тысячи веревок. — Само море тоже мало действует на меня, может быть от того, что я еще не видал ни безмолвного, ни лазурного моря². Я кроме холода, качки, ветра да соленых брызг ничего не знаю. Приходили, правда, в Немецком море звать меня смотреть фосфорический блеск, да лень было скинуть халат, я не пошел. Может быть во всем этом и не море виновато, а старость, холод и проза жизни. Если вы спросите меня, зачем же я поехал, то будете совершенно правы. Мне, сначала, как школьнику, придется сказать — не знаю, а потом, подумавши, скажу: а зачем бы я остался? Да позвольте еще: полно — уехал

ли я? Откуда же? Только из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я вчера уехал из Лондона, а в 1834 году из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д. Разве я не вечный путешественник как и всякий, у кого нет своего угла, семьи, дома? Уехать может тот, у кого есть или то, или другое. А прочие живут на станциях, как и я в Петербурге, и в Москве. Вы помните, я никогда не заботился о своей квартире, как убраться заботливо для постоянного житья-бытья; она всегда была противна мне, как номер трактира, я бежал греться у чужой печки и самовара (высоким словом: у чужого очага), преимущественно у вашего³. Поэтому я — только выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы и волнения, которые помешали бы мне ехать. Как будто этого ничего нет на берегу? Я вам назову только два обстоятельства, известные почти всем вам по опыту, которые мешают свободно дышать: одно — недостаток разумной деятельности и сознание бесполезно гниющих сил и способностей; другое — вечное стремление удовлетворить множество тонких потребностей, вечный недостаток средств и оттого вечные вздохи. А миллионы других, хотя мелких, но острых игл, о которых не стоит говорить; пробежите историю последних ваших двух или трех недель — и найдете то же самое: жизнь не щадит никого. Здесь не испытываешь сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей; эти пружины тут не в ходу, они ржавеют. Но за то тут другие двигатели, которые тоже не дают дремать организму: это физические бури, лишения, опасности, иногда ужас и даже отчаяние. Следует смерть: да где же она не следует? Здесь только быстрее и стало быть легче, нежели где-нибудь. Так видите ли, что я имел причины уехать или не имел причин оставаться — это все равно. Тут бы только кстати было спросить, к чему бы этот ряд новых опытов посылается человеку усталому, увядшему, пережившему, как очень хорошо говорит Льховский⁴, самого себя, который вполне не может воспользоваться ими, ни оценить, ни просто даже вынести их. А вот тут-то и не приберу ключа, не знаю, что будет дальше; после, вероятно, найдется.

После всего вышесказанного я из всех моих товарищей путешествия один, кажется, уехал покойно, с ровно бьющимся сердцем и сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря о Петербургской станции, умолчал о дружбе, которую там нашел и которой одной было бы довольно, чтобы удержать меня навсегда. Вы, Евгения Петровна, конечно, к слову дружба поспешите присовокупить и л ю б о в ь! На это отвечайте теперь же, Вы, Юнинька⁵, за меня: что я получил от Вас в награду за свою 19-летнюю страсть? Три единственные поцелуя на пароходной пристани при прощаньи — мало: не из чего было оставаться в отечестве*. А другая-то, лукаво скажете вы, которая плакала? А заметили ли вы, какие у нея злые глаза? Эта змея, которая плакала крокодиловыми слезами, как говорит Карл Мор, и кажется моля чуть не о моей гибели. Это очень смешная любовь, как впрочем и все мои любви. Если из любви не выходило никакой проказы, не было юмора и смеха, так я всегда и прочь; так просто одной любви самой по себе мне было мало, я скучал, от того и не женат. Ну, о любви довольно: припомните, как я всегда о ней говорил, так скажу и теперь: нового ничего не будет. О дружбе я обязан сказать яснее, особенно перед Вами: Вы можете требовать от меня ясного и подробного отчета за целых 17 лет, как оценил я капитал, отпущенный мне Вами, не закопал ли навсегда в землю, где он пропадает глупо, или пустил его в рост? Употребил ли его и как?

Дружба, как бы сильна ни была, не могла бы удержать меня, да истинная, чистая дружба никого не удержит и не должна удерживать от путе-

* Сколько раз изменяли и теперь измените опять, знаю, вашему постоянному рыцарю.

шествия. Влюбленным только позволительно рваться и плакать, потому что там кровь и нервы — главное, как Вы там себе, Евгения Петровна, ни говорите противное, а известно, что когда происходит разладица в музыке нервов, да нарушается кровообращение, тогда телу или больно или приятно, смотря по причине волнения. Дружба же — чувство покойное: оно вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании и, царствуя там, оттуда же разливает приятное усладительное чувство на организм. Вы можете страстно влюбиться в мерзавца, а я в мерзавку, мучиться, страдать этим, а все-таки любить; но вы отнимете непременно дружбу у человека, как скоро он окажется негодяем, и не будете даже жалеть. Дружбу называют обыкновенно чувством бескорыстным, но настоящее понятие о дружбе до того затерялось в людском обществе, что это сделалось общим местом, пошлой фразой и в самом-то деле бескорыстную чистую дружбу еще реже можно встретить, нежели бескорыстную или истинную, что ли, любовь, в которой одна сторона всегда живет на счет другой. Так и в дружбе у нас постоянно ведут какой-то арифметический расчет в роде памятной или приходо-расходной книжки, и своим заслугам, и заслугам друга, справляются беспрепятственно с кодексом дружбы, который устарел гораздо более Птолемеевой астрономии и географии, или Квинтилиановой реторики, все еще ищут, нет ли чего в роде Пиладова подвига, и когда захотят похвалить друга или похвалиться им (одной дружбой хвастают, как китайским сервизом или собольей шубой), то говорят — это испытанный друг, даже иногда вставят цифру XV—XX даже XXX-летний друг, и таким образом дают другу знак отличия и составляют ему аккуратный формуляр. Остается только положить жалованье — и затем прибить вывеску: з д е с ь н а н и м а ю т с я д р у з ь я. Напротив, про неиспытанного друга часто говорят — этот только приходит есть да пить, а чуть что так и того *... хоть не знают, каков он на деле. Им нужны дела в дружбе — и они между тем называют дружбу бескорыстной. Что это? Проклятие дружбы, такое же непонимание и непризнание прав и обязанностей ее, как и любви? Нет, я только хочу сказать, что, по моему, истинная, бескорыстная и испытанная дружба та, когда порядочные люди, не одолжив друг друга ни разу, разве как-нибудь не нарочно, не ожидая ничего один от другого, живут целые годы, хоть полстолетия вместе, не неся тягости уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и наслаждаясь дружбой, как прекрасным небом, чудесным климатом без всякой за это кому-нибудь платы. В такой дружбе отраднее всего уверенность, что никто не возмутит и не отнимет этого блага, потому что основание его — порядочность обеих сторон. Вот Вам моя теория дружбы, да полно теория ли только?.. Проследите только все 17 лет (а Вы, Юнинька, 19) нашего знакомства и вы скажете, что я всегда был одинаков, пройдет еще 17 лет и будет то же самое. Я никогда и ни у кого не просил ни рыданий, ни восторгов, а только прошу — не измените. Я очень счастлив уверенностью, что вы вспомните обо мне всегда хорошо. Отправляясь с этой уверенностью и надеждой воротиться, мог ли я плакать, жалеть о чем-нибудь. Тем более не мог, что, уезжая от друзей, я вместе с тем покидал и кучу надоевших до крайности занятий и лиц, и наскучившие одни и те же стены, и ехал в новые, чудесные, фантастические миры, в существование которых и теперь еще плохо верю, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда нужно пристать в Китай, когда в Новую Голландию, и уверяет, что был уже там три раза. Так, пожалуйста, не жалейте обо мне и запретите жалеть Языкову, которого самого и семью отчасти сливаю в уме (видите, в уме, ведь не ошибся, не сказал в сердце) с Вашей, хотя знаю, что он любит меня не так, как Вы, а иначе, и любит потому, что не может почти никого не любить, стало

* Далее два слова стерлись на сгибе письма. [Ред.].

быть по слабости характера; он даже изменит мне по-женски, посадит кого-нибудь другого на мое место. Но это ничего: я только приеду и опять найду тотчас свое местечко в сердце у них и за круглым столом.

Прочтя все это, вы, Евгения Петровна, скажете: так вот наконец ваше profession de foi! а! высказались! Ну, я очень рада. Как не так. Ведь говорю, не поймете меня никогда! Что же эта вся тирада о дружбе? Не понимаете? А просто пародия на Карамзина и Булгарина⁶. Вижу только, что вышло длинно, нечего делать, переписывать не стану, читайте, как есть. Я обещал Вам писать, что ни напишется, а Вы обещали читать — читайте.

«Так вот зачем он уехал», подумаете Вы: он заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце; ничем не освежалось воображение и т. п.! Все это правда, там я совершенно погибал медленно и скучно: надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее — это все равно, лишь бы изменить. Но при всем том я бы не поехал ни за какие сокровища мира... Вы уж тут, я думаю, даже рассердитесь: что же это за бестолочь, скажете — не поехал бы, а сам уехал! Да! с о з н а й т е с ь, что не понимаете, так сейчас скажу, от чего я уехал. Я просто — пошутил. Ехать в самом деле: да ни за какие миллионы, у меня этого и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: «вот вам бы предложить». Мне захотелось показать Вам, что я бы принял предложение. А скажи Вы: с какой бы радостью вы поехали, — я бы тут же стал смеяться над предположением, что я поеду, и разумеется ни за что бы не поехал. Я пошутил, говорю Вам, вон спросите Льховского: я ему тогда же сказал, а между тем судьба ухватила меня в когти, и вот я — жертва своей шутки. Вы знаете, как все случилось. Когда я просил Вас написать к Аполлону, я думал, что Вы не напишете, что письмо не скоро дойдет, что Аполлон поленился приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден, или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал, прежде моего «не хочу», уже доложил письмо, я — к графу⁷, а тот давно подписал бумагу, я хотел спорить в департаменте, а тут друзья (ох, эти мне друзья, друзья) выхлопотали мне и командировку и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала. Уезжая, я кое-кому шепнул, что вернусь из Англии, и начал так вести дело на корабле, чтобы улизнуть. Я сильно надеялся на качку: скажу, мол, что не переносу моря, буду бесполезен, и только. На другой же день по выходе в море я просыпаюсь — меня бьет о стенку то головой, то пятками, то иной более мягкой частью; книги мои все на полу, шинель, пальто качаются, в окне то небо появится, то море. Не тошнит ли, думаю: нет, хочется чаю, хочется курить — все ничего. Пошел вверх — суматоха, беготня, а море вдруг очутится над головой, а потом исчезнет. Стою, смотрю, только крепко держусь за веревку, ничего, любопытно, и только. «Э, да вы молодец, — говорят мне со всех сторон, поздравляют, — в первый раз в море и ничего! Каков!» А крутом — кого тошнит, кто валяется. Так на качку вся надежда и пропала. Думал было я притвориться, сказать, что меня, мол, тошнит, и даже лечь в койку, что мне ни по чем! Но морская болезнь лишает аппетита, а я жду, не дождусь первого часа, у капитана повар отличный, ем ужасно, потому что морской воздух дает аппетит. Другая хитрость: я стал жаловаться на вечный шум, на беготню и суматоху, что вот-де я ни уснуть, ни заняться не могу. Этому помогала моя хандра, о которой не знали на фрегате. Я говорил, что меня тревожит и топот людей, и стук упавшего каната, и барабан, и пушка. Обо мне стали жалеть серьезно, поговорили, что лучше конечно воротиться, чем так мучиться. Но и это вскоре рушилось. Я сошел как-то во время чая вечером в кают-компанию; кто-то спросил, зачем часов в 5 палили из пушки? Да разве палили? — сорвалось у меня с языка, опомнился, но поздно. Все расхохотались, и уж и я с ними, а пушка-то стоит почти рядом с моей каютой,

да ведь какая: в 4 аршина. Сказать разве, что, мол,—боюсь опасностей. Но этого даже и своей маменьке нельзя сказать. Наконец я сознался капитану, что мне просто ужасно не хочется, что Китай и Бразилия и занимают-то меня, как я теперь вижу, не слишком много, что я уж и не молод, а здесь спокойно, на вытязку, и нравы и привычки, обычаи не по мне. Ну, хотите я вам устрою возвращение? — сказал он. «О благодетель!» И в самом деле устроил, наговорил адмиралу, что я ужасно страдаю, скучаю и мало сплю (не ем он не говорил, язык не поворотился, я ведь у него ел, так он видел, а спать, так когда же я много спал?)

Адмирал выслушал с участием, призвал меня (это было в Лондоне), сказал, что он очень жалеет, что удерживать меня не станет, что лучше конечно воротиться теперь, чем заехать подальше и мучиться. Только жаль, прибавил он, что вы не предвидели этого в Петербурге: теперь некого взять на ваше место. Он выхлопотал мне даже у посланника поручение в Берлин и Варшаву, чтобы я мог воротиться на казенный счет. И я несколько дней прожил в Лондоне надеждою увидиться скоро с Вами опять. Посланник сказал, чтобы я съездил скорее в Портсмут за своими вещами и явился опять к нему за бумагами. Я приехал третьего дня в Портсмут и — не поехал более в Лондон, а еду дальше вокруг света. Опять задача — вот поймите-ка меня, не поймете. Уж так и быть скажу: когда я увидел свои чемоданы, вещи, белье, представил, как я с этим грузом один одинешенек буду странствовать по Германии, кряхтя и охая отпирать и запирасть чемоданы, доставать белье, сам одеваться да в каждом городе перетаскиваться, сторожить, когда приходит и уходит машина и т. п., — на меня напала ужасная лень. Нет уж, дай лучше поезду по следам Васко-де-Гама, Ванкуверов, Крузенштернов и др., чем по следам французских и немецких цырульников, портных и сапожников. Взял да и поехал. Опять тот же капитан устроил дальнейшее мое путешествие, сказал адмиралу, что я не прочь и дальше ехать, что я надеюсь привыкнуть. Адмирал был здесь и опять призвал меня, сказал, что конечно мне лучше ехать, что ревматизм в щеке пройдет под тропиками, где о зубной боли не слыхивали, что к шуму и беготне я так привыкну, что перестану и замечать, что если для меня, как для незнакомого человека с носом, страшны опасности, лишения, так в обществе 500 человек их легче сносить, что наконец я буду после каяться, что отказался от такой необыкновенной экспедиции. Я остановил его словами: я еду. И вот еду, прощайте. Все, что только есть дурного в морском путешествии, мы испытали и испытываем. Выехали мы в мороз, который заменился резкими ветрами; у Дании стало теплее, как у нас бывает в сених осенью; а я перед открытым окном раздевался, потому что когда окно закрыто, да выпалят, так окно в дребезги; уж у меня два раза вставляли стекла. В качку иногда целый день не удается умыться, некогда, а в Немецком море, когда мы десять дней лавировали взад и вперед, нисколько не подвигаясь дальше, стали беречь пресную воду, потому что плавание могло продолжиться месяц, и выдавали для умыванья морскую, которая ест глаза и не распускает мыла. Мой Фадеев воровал мне по два стакана пресной воды — будто для питья. И на капитанском столе стали тогда чаще являться солонина, так что состарившиеся более от качки и морских беспокойств, нежели от времени, и ослепшие от порохового дыма куры и утки да выросшие до степени свиней поросята поступили в число тонких блюд. И теперь, сидя за этим письмом, закутанный в тулуп и одеяло, я весь дрожу от холода, в каюте сыро; отовсюду дует, дохнешь и пустишь точно струю дыма из трубки, а все дальше хочется, дальше. Мало того, меня переводят из адмиральской каюты, в самый низ, с офицерами, где каюты темные, душные и маленькие, как чуланчики, рядом в общей комнате вечный крик и шум, других кают нет, фрегат битком набит, и я еду, еду, с величайшей покорностью судьбе и обстоятельствам, даже с странной охотой—

испытать эти неудобства, вкусить крупных и серьезных превратностей судьбы. Говорят, что мы вкусили будто бы самое неприятное,—не верится. Впереди—если не будет холода, так будут нестерпимые жары, если не будет беспокойной качки Немецкого моря, так будут океанские штормы и тому подобные удовольствия. Правда, как только мы выступили, у нас сорвался сверху и упал человек в море: спасти его было нельзя, он плыл за фрегатом и время от времени вскрикивал, потом исчез. Таково было наше обручение с морем. Потом появилась холера: мы по-морскому похоронили троих матросов, потом в Зунде сели на мель. Были туманы, крепкие ветры, а плавание до Англии считается самым опасным. Я вам не писал ничего об этом, чтоб не было преувеличенных толков, потом хотелось написать вам побольше, вдруг, да все или развлекался, или зубы болели.—Когда офицеры узнали, что я хочу воротиться, они—странно—опечалились, стали упрашивать, чтоб я остался, я сказал, что предоставил капитану переделать дело, как он хочет: если переделает, я останусь и буду молчать, если нет, тоже молча уеду. Некоторые побежали к капитану и просили опять поговорить с адмиралом. И что я им сделал, что им во мне? Дуюсь, хандрю, молчу—а они! чудеса! Адмирал сказал мне, что главная моя обязанность будет—записывать все, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся: ничего не выйдет, ни из меня Гомера, ни из них—аривян. Но что бы ни вышло, а им надо управлять судном, а мне писать, что выйдет из этого—бог ведает.

Я воображал, Николай Аполлонович, милейший, неиспытанный, но прочнейший друг мой, вас на своем месте и часто; как бы Вы довольным были всякою дрянью: и в койке-то вам бы казалось спать лучше всякой постели, и про солонину сказали бы, что лучше на берегу не едали, как бы Вы сами себе доставали белье, скидали и надевали сапоги, и как бы уладили все в своей каюте. А работы много—надо установить все так, чтобы от качки не ходило: и коммод пригвоздить к стене (а у меня только привязан, вы бы пригвоздили и себе и мне), и книги, и подсвечники, графины укрепить, и подпилить почти все ножки у мебели. На Немецком море особенно я вспомнил о Вас: около фрегата появились касатки, млекопитающие животные, толстые, черные, и беспрестанно перекидывались поверх волн.

Фрегат наш теперь в доке; кое-что исправляют, прибавляют еще пушек, приделывают аппарат для выдelfывания пресной воды, и мы пробудем здесь, пожалуй, недели три. Хотел было в Париж ехать, да меня сбило с толку предполагавшееся возвращение в Россию. Дня через два думаю ехать опять в Лондон (3½ часа езды по железной дороге) и, если будет возможность—во Францию, хоть на неделю.—Мы пока помещены в тавани, на старом английском корабле, все в беспорядке.

Вот письмо к концу, скажете Вы, а ничего о Лондоне, о том, что вы видели, заметили. Ничего и не будет теперь. Да разве это письмо? Опять не поняли? Это вступление (даже не предисловие, то еще впереди) к Путешествию вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании И. Обломова.

Ну, обнимаю Вас, друзья мои, и смущаюсь только тем, что увижу Вас не раньше трех лет. Ах, если бы годика через полтора. Я бы даже готов был воротиться через Сибирь на этом условии. А мы еще не знаем, как пойдем. Говорят, не через Бразилию, а прямо в Новую Голландию: дней 80 пробудем в море, не видя берега. Вы, Николай Аполлонович, и Вы, Евгения Петровна, не прочтете моего маранья, но Вы, Аполлон, Старик (целую вашу Старушку)^a, и Вы, Льховский, конечно, поможете разобратъ, если только станет

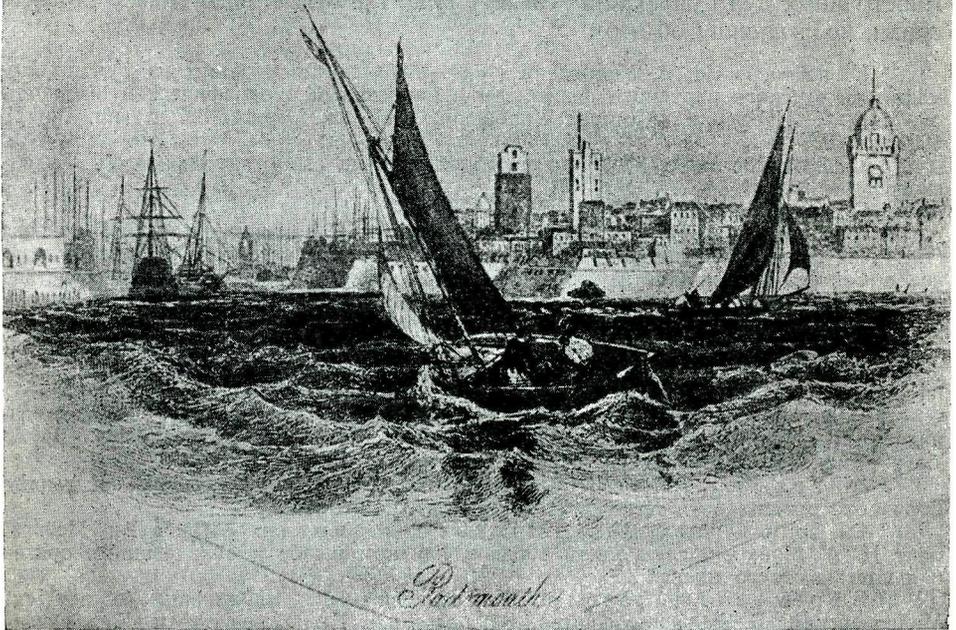
Франко.

Россия из Петербурга.

Ея Высочайшаго гвард
Юнкера Дмитрия Вик
Ефремовой.

во Петербургу.

Научны библейской Садовой улицы
Екатерининского проспекта в доме
Полосухина, бывшемъ Адама. (входъ
въ Садовую).



ВИД ПОРТОМУТА, ПРИСЛАННЫЙ ГОНЧАРОВЫМ Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ, И КОНВЕРТ,
В КОТОРОМ ОН БЫЛ ОТПРАВЛЕН

Институт Русской Литературы, Ленинград

охоты. Капитан, я думаю, посмотрит да и скажет: за какое это наказание читать? Бурька, а ты что? Чай все по игрушечным лавкам?

Теперь следует, как у мужиков водится, начать: и кланяйтесь Александру Павловичу, да Владимиру Григорьевичу, да Василию Петровичу и Любови Ивановне, Анне Васильевне, Михаилу Васильевичу, да Юлии Петровне с детьми, да Дудышкину, да [не разобр.], да Филиппову, да Марье Федоровне, да Михаилу Петровичу, да Степану Дмитриевичу⁹, но пусть извинят меня те, кого не упомянул, я не забыл и не забуду никого, а просто лень.

Что касается до этого и следующих писем, то Вы, Николай Аполлонович, обещали не давать их никому, а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может понадобится. Притом я пишу без претензии для Вас и других самых коротких друзей, от того и желал бы, чтобы прочли только они; Вы их всех знаете. Если будут спрашивать, скажите, что кто-нибудь взял, да и не принес. Языковым напишу.

Катерине Федоровне привет⁹.

Прочитав все, что написал, совещусь, посылать ли, но и писать опять лень, так не давайте же читать никому, тем более, что это письмо относится только до одних Вас, да Юнии Дмитриевны, да Льховского—и только же: для своих. Элькану¹⁰ скажите, что предсказания его фальшивы: я не спился, да и надежды нет: моряки пьют по рюмке водки за обедом, да по рюмке вина, а за ужином опять по рюмке водки, а вина нет, и только. А некоторые и совсем не пьют, чуть ли я не главный пьяница. Англичанки—чудо, но о женщинах после когда-нибудь.

Я уже в Д—т писал к Кореневу¹¹, что еду назад: Вы, Старик, скажите ему, что это опять изменилось, меня даже испугала мысль воротиться. Перед отъездом я опять напишу ему и тогда скажу, как можно ко мне писать и куда. Адмирал писал в Петербург, чтобы нашим родным и знакомым дозволили посылать письма через Англию с казенными депешами из Министерства Иностранных Дел (Заблюцкий¹² знает) туда, где будем: надо только помнить сроки, но я напишу об этом.

¹ Капитан—И. В. Унковский (1822—1886) считался одним из лучших командиров русского парусного флота. Живо написанный биографический очерк его см. у В. К. Истомина «Адмирал Унковский». «Русск. Арх.» 1887 г., кн. I и II, 1889, кн. IV.

² «Безмолвное море, лазурное море»—строка из стихотворения В. А. Жуковского.

³ См. прим. к письму № 1—Майковы.

⁴ Льховский, Ив. Ив. (1829—1867)—один из ближайших друзей Гончарова (см. ниже письма Гончарова к нему), служивший в Министерстве финансов, позднее в Сенате. В конце пятидесятых годов Льховский сам совершил кругосветное путешествие, побывав между прочим на мысе Доброй Надежды и в Японии. Очерки своего путешествия Льховский печатал в «Морск. Сборнике» за 1861—1863 гг.

⁵ «Юнинька»—Юния Дмитриевна Ефремова (рожд. Гусятникова), близкий и доверенный друг Гончарова. О ней см. Б. Л. Модзалевского. «Врем. Пушк. Дома» на 1914 г., стр. 107—124 и его же в «Невск. Альманахе», 1917 г., ч. II.

⁶ Гончаров имеет в виду знаменитое начало «Писем русского путешественника» Карамзина: «Расстался я с вами: милые, расстался... и рассуждения о дружбе в романе Ф. Б. Булгарина «Иван Выжигин».

⁷ «К графу»—гр. Ф. П. Вронченко, тогда министру финансов, начальнику Гончарова по службе в Департаменте внешней торговли.

⁸ См. прим. к письму № 1—Майковы, «Капитан»—Конст. Ап. Майков, брат Н. А. Майкова, служивший тогда в Главном штабе и отличавшийся оригинальностью своего нрава.

⁹ Ефремов Александр Павлович—муж «Юниньки» (о нем см. Модзалевский, Б. Л., назв. сочин.); Владимир Григорьевич Бенедиктов, известный поэт, приятель Майковых и Гончарова, которому он посвятил послание по случаю отъезда в экспедицию; Василий Петрович, Любовь Ивановна, Екатерина Федоровна—знакомые Майковых, о которых нам не удалось собрать сведений; Юлия Петровна, сестра Евгении Петровны Майковой, бывшая замужем за Михаилом Васильевичем Кошкаревым, пензенским помещиком, Филиппов—возможно, что кто-нибудь из родственников петрашевца

П. Н. Филиппова (1825—1855), знакомого Валер. Ник. Майкова; Яновский, Степан Дмитриевич (1817—1897), врач. Был близок с Валерьяном Ник. Майковым, вращался среди петрашевцев, дружил с Ф. М. Достоевским, о котором оставил обширн. воспоминания. Дудышкин, С. С.—известный литературный критик, приятель Гончарова.

¹⁰ Элькан, Алексей Львович—мелкий журналист, втиравшийся во все литературные кружки и имевший подозрительно широкие знакомства во всех слоях общества. «Личность темная и подозрительная» (Б. Л. Модзалевский).

¹¹ Коренев, Андр. Петрович—старший сослуживец Гончарова по Департаменту внешней торговли Министерства финансов.

¹² Заблоцкий, Михаил Парфенович—знакомый Языковых и Майковых, чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Через него шла корреспонденция Гончарова из плавания и письма к нему на «Палладу».

4. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

Портсмут, 8/20 декабря [1852]

Пять дней тому назад я воротился из Лондона, и мне тотчас же вручили Ваши письма, любезные друзья Михайло Александрович и Екатерина Александровна. Наверно я больше обрадовался им, нежели Вы моему письму. Я здесь один—почти в полном смысле слова. Вы же в семье и с друзьями.—Поздравляю Вас с дочерью: это мой будущий друг, по крайней мере я не отчаиваюсь рассказать и ей об африканских людях. Вы, Екатерина Александровна, пишете, что Вам скучно: не верю, не от чего. Стоит только послать Михаила Александровича месяца на два в Финляндию или в Москву, так и скука пройдет: ожидание, а потом возвращение его—вот Вам и радость. Просто Вы блажите, потому что счастливы—как только может быть счастлива порядочная женщина—мужем и детьми. Разве что денег нет—вот это горе, но уж если так заведено, что без какой-нибудь занозы никак нельзя прожить, так нечего делать, надо побыть и без денег. Я так вот очень рад, что Ваше происшествие, как Вы называете рождение дочери, сошло с рук благополучно. Вы и не путешествовали, а проистшествий то у Вас было не мало.—Нужно ли Вам говорить, что я беспрестанно вспоминаю о Вас? И в Лондоне, и здесь, и на пути до Англии мне все еще мерещилось мое петербургское житье-бытье, и я при каждом случае мысленно вызывал то того, то другого из своих приятелей разделить какое-нибудь впечатление. Когда будете у Майковых, они может быть прочтут Вам кое-какие подробности моего путешествия из письма, которое посылаю к ним сегодня же. Прибавить к этому почти нечего, разве только то, что мы все продолжаем испытывать неудобства, не наслаждаясь еще ничем из того, что так манило вдаль. Небо, море, воздух почти все те же, что и [у] нас. Здешня зима—это наша осень и на дворе сносно, в комнате тоже хорошо, потому что в каждой комнате непременно камин, но на корабле холодно и сыро. Пока я был в Лондоне, дождь шел там почти каждый день, и этот город, и без того мрачный от дыма, тумана и некрашенных, закоптелых домов, казался еще мрачнее. В полдень надо было писать при свече. Я осмотрел, что только мог в 17—18 дней, и вот опять здесь. Наскучит сидеть на корабле, пойдешь бродить по Портсмутским улицам, исходишь весь город, воротись и опять очутишься в кругу тех же людей, с которыми придется пробыть года три. Как я порассмотрел некоторых из них, так меня немного коробит при мысли—встречаться с ними ежедневно лицом к лицу. Другие сносны, а некоторые и очень милы, только весьма немногие. Впрочем я не очень тужу об этом, особенно когда беспристрастно спрошу себя: да сам-то я мил ли? Ответивши самому себе, тоже по возможности беспристрастно, на этот вопрос, я уже без всякой желчи протягиваю руку всем, и милым, и немилым, и сносным. Терпимость—великое достоинство, или лучше сказать, совокупность достоинств, обозначающих в человеке

характер, стало быть все. Впрочем я, как только могу, стараюсь примириться со всеми настоящими и будущими неудобствами путешествия, даже мысленно, воображением укатываю разные кочки и успеваю иногда до того, что мне делается легче при толчке. Этим искусственным способом я выработал в себе драгоценную способность — не скучать. Для этого мне стоит только по временам живо напоминать себе мое петербургское житье со всеми подробностями и особенно продолжить его вперед по той же программе, и в одну минуту во мне опять возрождается охота ехать дальше и дальше; тогда мне ясно представится, что, уезжая, я выигрываю все, а проигрываю только материальное спокойствие да некоторые мелкие удобства, лишение которых исчезает перед интересом моей затеи. А когда воображение разгуляется да немного откроет картину чудес, ожидающих нас впереди, когда почувствуешь в себе не совсем еще угасшую потребность рисовать — так в одну минуту увидишь, что непременно надо было уехать, даже покажется, что иначе и не могло случиться. От этого я довольно равнодушен к тому, что вот уж третий месяц я живу как будто в сених, в холоде и сырости, сплю в койке, до которой прежде может быть не решился бы дотронуться, помещаюсь, пока фрегат еще в доке, на бивуаках, вчетвером в одной каюте старого английского корабля, что вещи мои разбросаны, бумаги и книги в беспорядке, что разъезжаю по рейду в лодчонке в такую погоду, в которую в Петербурге не показываю носа на улицу и т. п. Даже еще хуже: теперь, когда на фрегате поселился адмирал, стало теснее, и мне придется жить в одной из офицерских кают; не знаю, «видели ли Вы их, Михаил Александрович, когда мы вместе были на фрегате? Это гораздо меньше того уголка, в котором жил у вас Софрон [?] с Андрюшей и без окон, с круглым отверстием, чуть не с яблоко величиною, которое великолепно называют люминатором, так что почти ни света, ни воздуха. В верхней каюте я выпросил только себе уголок поставить столик для занятий. К этому ко всему представьте странность или фальшивость моего положения среди этих людей, которые почти все здесь — в своей тарелке, военные формы, к которым я не привык и которых не люблю, дисциплина, вечный шум и движение — и Вы сознаетесь, что мне дорого обойдется дерзкое желание посмотреть африканских людей. Ваша Еничка правду говорит, что я уехал на лысую гору, почти в роде этого, только и не достаёт ведьм, судя по тому, что рассказывает наш штурман, который едет вокруг света в четвёртый раз. Что будем делать, ещё сами не знаем, только к 50 пушкам прибавили здесь ещё 4 бомбические пушки (для бросания бомб), а в трюме лежит тысяча луд пороху.

Адмирал изредка поручает мне писать кое-какие бумаги, но в должность свою я порядком ещё не вступил. Большую часть бумаг, и именно по морской части, пишет он сам с капитаном Посьетом,¹ который взят по особым поручениям. Мне он объявил, что главною моею обязанностью будет вести журнал всего, что увидим, не знаю, для чего, для представления ли отчета, или чтоб напечатать со временем. Вы верно знаете, что я хотел было воротиться, так болел у меня висок, щека и зубы; адмирал согласился и даже выпросил было мне у посланника казенное поручение, но потом он был очень доволен, когда я остался, сказав, что отъезд мой поставил бы его в большое затруднение, что ему нечем заменить меня. Ревматизм мой, слава богу, пока молчит, чтоб не сплзить только. В Субботу (сегодня Понедельник) назначено выйти отсюда, но только удастся ли, не знаю. Вон наш транспорт Двина хотел было уйти месяц тому назад, да за противными ветрами стоит ещё и теперь на рейде. — Кстати о Двине: однажды у нас на фрегате обедали все офицеры с Двины; между ними я увидел одного с таким же румянцем и усиками, как у друга моего, Августы Андреевны², с такими же глазами, какие были у нее — я тотчас же догадался, что это

должен быть Колзаков³, подсел к нему и мы проболтали целый вечер; при чем перебрали всех Колзаковых и Вас. Он поручил мне кланяться Вам, а я его просил о том же.

Может быть это мое последнее письмо к Вам из Англии. Едва ли успею написать еще: надо писать и к своему начальству, и к сослуживцам, и к родным, а времени немного. Я пользуюсь отсутствием адмирала; он воротится из Парижа, куда отвез жену, и верно завалит бумагами. До свидания же, не забудьте, ради бога, меня, пишите мне чаще обо всем по тому же адресу, который я послал Кореневу. Если увидите его, скажите, что я ему напишу перед отъездом. Кланяйтесь всем нашим общим приятелям и Анненкову; я думаю, он у вас теперь: мне завидно.

До свидания, до свидания. Целую Ваших детей. Весь и всегда Ваш
Гон[чаров]

Не забудьте поклониться Достоевским⁴, Андрею Андреевичу с Александрой Александр.⁵ и Вячеславу Васильевичу с семейством.

Целую Ваши ручки с обеих сторон, Екатерина Александровна, по случаю прошедших Ваших именин. Я очень живо представляю себе этот день, сначала были дети Язык., потом часов в 12 ночи Панаев и Лонгинов и прочие; недоставало только меня: я по обыкновению забрался бы с утра. Лонгинову, Панаеву, Некрасову, Мухортову, Боткину, Никитенке⁶ etc. всем напомните обо мне, поблагодарите особенно кн. Одоевского⁷ за добрую память и расположение.

Едем через неделю.

¹ Посьет, Константин Николаевич (1819—1899), позднее адмирал, мин. путей сообщения. Человек очень образованный и культурный, он принадлежал к числу наиболее приятных спутников Гончарова, который выводит его в Очерках под инициалами «П.», «К. Н.», «К. Н. П.». На «Палладе» он был «для особых поручений» при Путятине.

² Колзакова, Августа Андреевна — сестра ген.-м. Андрея Андреевича Колзакова, женатого на сестре М. А. Языкова — Александре Александровне.

³ Колзаков, Андрей Андреевич, позднее капитан I ранга, сын предыдущего.

⁴ Достоевские, Мих. Мих. (1820—1864), и его жена Эмил. Фед.

⁵ Андрей Андреевич и Александра Александровна Колзаковы (см. выше).

⁶ Лонгинов М. Н. (1823—1875), библиограф, историк, тогда член кружка «Современника».

Мухортов Зах. Ник. — знакомый Языковых, чиновник канцелярии Морского министерства.

Боткин, Василий Петрович (1810—1869) — писатель.

Никитенко, А. В. (1804—1877) — профессор литературы, критик, цензор позднее один из ближайших друзей Гончарова.

⁷ Одоевский, Вл. Федорович (1803—1869) — писатель и общественный деятель, филантроп.

5. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

Портсмут

Спитгедский рейд, 27 декабря/8 января 1852/53

Не удивляйтесь, что я распроставшись с Вами надолго во втором моем письме, пишу еще третье. Мы все ни с места. Буквально сидим у моря и ждем погоды, а с нами еще до полусотни кораблей. Мы каждый день собираемся в океан, а ветер дует оттуда, да ведь какой: иногда воем своим целую ночь не дает соснуть. Перед праздниками мы вытянулись на рейд, думая через день, через два уйти, да как бы не так. Тут некоторые недавно сунулись было, но поднялась буря, и они обломанные и обципаные воротились назад, а один в канале натолкнулся на риф и разбился в щепы. Сегодня праздники; меня в эти дни особенно прихватила хандра. Я всегда был враг буйного веселья, в армяке ли оно являлось передо мной или во фраке, я всегда прятался в угол. Здесь оно разыгралось в матросской куртке. Я вчера на-

рочно прошел по жилой палубе посмотреть, как русский человек гуляет. Группы пьяных, или обнимающихся, или дерущихся матросов с одним и тем же выражением почти на всех лицах: нам море по колено; подойди кто-нибудь: зубы разобью, а завидят офицерский эполет и даже мою скромную жакетку, так хоть и очень пьяны, а все домогаются покоробиться хоть немножко так, чтоб показать, что боятся или уважают начальство. Я ушел в свою каюту, но и сюда долетают до ушей топот, песни, звучные слова и волюнка. Скучно, а уйти некуда. Письма — единственное мое развлечение. Когда я с утра собираюсь писать к приятелям, мне и день покажется сносен. Не знаю, как я буду в море: пойдем прямо в Валь-парайзо и стало быгть около трех месяцев не увидим берегов.—В первый день праздника была церковная служба, потом общий обед, т. е. в кают-компании у офицеров, с музыкой, с адмиралом, с капитаном, с духовной властью и гражданскими чиновниками. Вечером отыскиали между подарками, которые везем в дальние места, китайские тени и давай показывать. На столе десерт, вино, каюта ярко освещена, а на палубе ветер чуть с ног не сшибает; уж у отца Авакума две шляпы улетели в море, одна поповская, с широкими полями, которые парусят не путем, а другая здешняя. Все бы это было очень весело, еслиб не было так скучно. Но слава богу, я выношу сверх чаяния довольно терпеливо эту скуку, морску скуку (не для дам) (см. Тредьяковского); меня с нею мирит мысль, что в Петербурге не веселее, как я уже писал Вам.

Вы, Екатерина, Александровна в Вашем письме пожалели, что я претерпеваю бедствия. Да, не знаю, что будет дальше, а теперь претерпеваю. Сами посудите: только проснешься утром, Фадеев (что мой Филипп перед этим? тот поляк в форме русского холопа, весь полонизм ушел в грязный, русский, лакейский казакин, и следов не осталось, а этот с неимоверной смелостью невредимо привез Костромской элемент через Петербург, через Балтийское и Немецкое моря и во всей его чистоте, с неслыханной торжественностью, внес на Английский берег, и я уверен, так же сохранно объедет с ним вокруг света и обратно привезет в Кострому), — так вот этот самый Фадеев принесет мне в каюту чай, потом выдешь на палубу, походишь, зайдешь к капитану, тот пьет кофе или завтракает, с ним съешь кусочек стейтона. Опять бежит Фадеев: «поди ваше высокоблагородие: адмирал зовет тебя (мы с ним на ты) обедать». Что ты врешь: в 11 часов обедать? — «Ну так вино что ли пить — только поди, а то мне достанется: подумают — не сказал». Адмирал [зовет] звал чай пить: он думал, что я до обедни не пил чаю. — После того, зайдешь в кают-компанию, там садятся обедать: возьмешь да и поешь, или выпьешь стакан портеру, рюмку вина. Часа в три опять зовут к капитану или к адмиралу — обедать. После этого только лишь приотдохнешь, как в кают-компании в 7 часов подадут чай и холодный ужин. Опять на палубу или на улицу, как я называю это, погулять. Посланный от капитана зовет посидеть вечером, а как этот вечерок тянется иногда до 2-х часов, то и опять закусишь. — Вот что терпишь иногда в море. За то сколько удовольствий впереди: жары, от которых некуда спрятаться; на палубах и в верхних каютах пропекает насквозь полуденное солнце, а внизу духота; у Горна морозы, от которых еще мудренее защититься, и бури, от которых вовсе нет защиты; по временам солонина, одна солонина с перемежкой ослепших от порохового дыма и состарившихся от качки кур и гусей, да вода, похожая на квас, да одни и те же лица, те же разговоры. Я дня три тому назад с особенною живою вспомнил и даже вздохнул по Вас и по Вашей светлой и теплой зале. Соскучившись на фрегате, я взял шлюпку да и в Портсмут, хотя и там не много веселее, я город знаю наизусть. Шатался, шатался там, накупил по обыкновению всякой дряни полные карманы, благо все дешево. Сигарочницу, а их у меня уж шесть, еще немножко сигар, а их лежит в ящике 600,

Н. В. ПУТЯТИН

Начальник экспедиции на фрегате
«Паллада»
Фотография
Военно-Морской Музей, Ленинград



до Америки станет, какую-то книгу, которую и не прочтешь, там футляр понравился, или покажется, что писчей бумаги мало, и писчей бумаги купил, да так и прошатался до вечера. А ехать до фрегата добрых версты три, четыре, с версту гаванью, а остальное открытым морем. Между тем ветер свежий и холодный; поехал я на вольной шлюпке, потому что фрегатскую долго на берегу держать нельзя. Пока ехали гаванью, не казалось ни очень холодно, ни ветрено, а как выехали за стены, да как пошла шлюпка зарываться в волнах — так мне и показалось, что у Вас в зале, между Михаилом Александровичем и Анненковым, против Екатерины и Элликониды Александровны гораздо удобнее и теплее. Но это бы все ничего, а беда в том, что на рейде стоит более полусотни кораблей, саженьях в 150, 200 и более друг от друга. А ночью *touts les chats sont gris**: ни я, ни перевозчики (их двое) не знаем, где рошиен фрүгэт (russian frigate) да и только. Подъезжали судам к десяти, и все слышим — по, да nein. А ветер, а холод: только и знаешь, что одной рукой держишь шляпу, а другой натягиваешь пальто на ноги. «Ну, думаю, как приеду, выпью целый чайник чаю, спрошу водки, ужинать». Приехал, а у нас всенощная, и я около часу стоял, дрожа и переминаясь с ноги на ногу! И сколько таких, и слава богу, если еще только таких эпизодов, ждет каждого из нас впереди. — Ну, наконец мне отвели постоянную квартиру: Вы ее знаете, Михаил Александрович? это та самая, в которой, помните, мы так долго ждали лейтенанта Бутакова?!. Только ее перегородили на две части: одну отдали Посьету, адъютанту адмирала, а другую мне. Подле двери окно и маленькая щель, или по здешнему, люминатор, сверху дают мне свет. Мне предлагали каюту внизу, вме-

* Все кошки серы.

сте с офицерами, но там ни света, ни воздуха и вечный шум от 20 человек офицеров, собирающихся тут же рядом в кают-компани. Вверху тоже шум от маневров с парусами, но к этому, говорят, можно привыкнуть, притом он происходит все-таки вне каюты, а внизу в самой каюте, потому что она в одной связи с общей каютой. Я, или лучше сказать, Фадеев убрал очень порядочно мой уголок: Я купил хорошенькой материи для обивки, клеенки, а казна дала прекрасное бюро и коммод. Наделали мне полок, на которых разместились все книги и разная дрянь, составляющие неизбежную утварь всякого угла, как бы он ни был мал. Только Фадеев распорядился так, что книги все (он же у меня библиотекарь) устал назад по темным углам за занавеской, а дрянь, как то: туфли, щетки, вакуу, свечи и т. п. выставил вперед. «Зачем, мол, это ты так распорядился?» «А легче—слышь, доставать». «Да ведь и книги надо доставать!» «Третий месяц как едем, ни одной не доставали!» простодушно отвечал он. «Правда твоя, сказал я, оставь их там, где поставил».

Посылаю два вида Портсмутской гавани — Николенке охотнику до кораблей. Вот где мы простояли недель пять: саженях во сто подле этого корабля, Victory, который Вы тут видите на большой картинке. На другой, поменьше, виден паровой пловучий мост, переправляющий за одну пенни из одной части города в другую. Скажите моему маленькому другу, что я до африканских людей еще не доехал. Всех прочих целую. Что Ваше здоровье, что Вы делаете? Когда получу ответ на этот вопрос и где? Сам постарюсь писать даже с моря: говорят, можно с встречными кораблями отправлять в Европу письма.

Вот и день прошел. К вечеру мне делается как-то тяжело, не от этих обедов и завтраков, а нервическая тяжесть. Утром я бодр и иногда даже весел, но к ночи не знаю, куда деться от хандры. У капитана только и есть маленькое прибежище: к нему придет мой сосед Посьет, еще кто-нибудь, например Римский-Корсаков², командир отправляющейся с нами же шкуны; каюта отделана роскошно; в ней жил великий князь прежде, засветят лампы, окна настезь, камин, чай, фортепиано и живой разговор — все это помогает забываться, иногда так забудешься, что как будто сидишь где-нибудь в Морской. Досадно только, что на военных судах есть некоторые скудные ограничения: например на палубе нельзя есть, это парадная площадь: курить разумеется вовсе нельзя, кроме как в кают-компани и в капитанской каюте, но мы покуриваем и в своих; в Воскресенье надо быть в форме, а как у меня нет никакой, то я по будням хожу в старой жакетке и в старом жилете, а в праздник надеваю новую и черный жилет. Фрак берегу для больших okazji.

Что вам сказать еще. Теперь пока не имею права ничего говорить: наш настоящий поход еще не начался. Что будет, как выдержу все труды, страхи и лишения, не знаю, только задумываюсь. Впрочем кого из близких знакомых ни поставлю на мое место, вижу, как едва ли кто годился вполне в этот подвиг. Все не понимаю, зачем это судьба толкнула меня сюда? Я решительно никуда теперь не гоюсь по летам, по лени, по мнительному и беспокойному характеру и наконец по незавидному взгляду на жизнь, в которой не вижу толку. Мне даже стыдно становится под час: сколько бы людей нашлось поделнее, которые бы с пользой и добром себе и другим сделали этот вояж! А я точно дерево, как будто и не уезжал никуда с Литейной. Разве что суждено мне умереть где-нибудь вдалеке, так это могло бы случиться и проще, дома, особенно теперь, в холеру. Тут есть какой-то секрет; узел мудрен, не могу распутать. Подожду, что будет.

Прощайте, до свиданья. Обнимаю Вас, милый мой друг Михаил Александрович, и Вас, если позволите, Екатерина Александровна. Желая Вам хорошего Нового года. Не забудьте меня, а я припоминаю Вас всех на каж-

дом шагу; увижу ли где-нибудь замечательное, случится ли что-нибудь особенное, сейчас мысленно зову Вас разделить мое удовольствие или неудовольствие, смотря по обстоятельствам. Кланяйтесь всем, Коршам пожалуйста не забудьте. А писем моих не показывайте никому: они пишутся к Вам и для Вас, без всяких видов, и пишутся небрежно, а другие взыщут. Вас, Элликонида Александровна,³ прошу уделить мне немножко дружеской памяти. Я во втором письме писал к Вам особо маленькое письмо. Прощайте и надолго. Кланяйтесь Андриюше. Не сердится ли Вячеслав Васильевич, что я послал ему доверенность с просьбой переслать ее в Симбирск.

Другу моему⁴, знаете какому, вечный и неизменный поклон.

Андрею Андреевичу, Александре Александровне, Михаилу Александровичу те же.

¹ Бутаков Иван Иванович (ум. в 1882 г.), позднее вице-адмирал. На «Палладе» был старшим офицером, но из Сингапура был отправлен Путятиным в Петербург с докладами и просьбой прислать на замену «Паллады» новый фрегат — «Диану». На «Диане» Бутаков и совершил плавание в Де-Кастри, где был зачислен в Амурскую флотилию. См. общ. Морской Спикер.

² Римский-Корсаков, Воин Андреевич (1822—1871), позднее адмирал. Один из интереснейших русских моряков второй половины XIX века, известный своим гуманным обращением с матросами, убежденный сторонник реформ, прекрасный педагог. Гончаров с ним очень быстро завязывает самые дружеские отношения, но в Англии им пришлось расстаться, так как Корсаков принял командование шкуной «Восток», купленной в Англии и служившей авизо для «Паллады». О нем см. Дм. Мертваго. «Несколько слов в воспоминание к.-адм. В. А. Римского-Корсакова». Морской Сборник, 1872, кн. 3; статьи и воспоминания самого В. А. «О морском воспитании». Морской Сборник, 1860, № 7, случаи и заметки на шкуне «Восток». Там же, 1858, № 5, 6 и 12; «Дневники из японской экспедиции» там же, 1895, № 10—12, 1896, № 1, 2, 5, 6, 9. В Очерках «В. К.», «В. А. К.».

³ Элликонида Александровна — см. выше прим. № 1.

⁴ «Друг мой» — Августа Андреевна Колзакова.

Андрей Андреевич и Александра Александровна Колзаковы. См. прим. к п. № 2 и 3.

6. И. И. ЛЬХОВСКОМУ¹

Английский Канал, 9/21 января [1853]

Я уже сказал Вам, кажется, что писать письма к приятелям для меня большая отрада. Вот отчего после отправленного дней пять тому назад письма к Вам пишу опять, и пишу на ходу, во время сильной качки; хотя строчки выходят кривые, рука отходит от стола или стол от руки, но я утвердился в своей позиции крепко. Мне кажется, если бы я теперь воротился домой, то первые дни жил бы непременно под влиянием нынешних моих впечатлений. Я бы не мог равнодушно смотреть на свободно стоящую мебель: мне все казалось бы, что ее надо принайтовать, а окна задраить, книги и разные мелочи установить на полках с рейками и вообще взять нужные предосторожности против качки. При первом свежем ветре, я, забывшись, ждал бы, что сейчас засвистят всех наверх брать рифы, т. е. уменьшать паруса, как это делают в настоящую минуту. Вот неудобство плавать на парусном судне: ни погулять свободно, ни сметь отдохнуть на палубе; надо совершенно благословенную погоду, чтобы можно было ходить прямо или чтобы на палубе не топталось человек 200, а часто и все 400. Эту погоду наслаждаются только в тропиках, где от сотворения мира неизменно дует один и тот же ветер, в северном полушарии в одну, а в южном в другую сторону, т. е. пассат. Но до тех пор нам еще недели три или даже месяц ждать, а теперь мы бьемся третьи сутки в англій* (вишь, ведь, как качнуло) ском канале. Снялись с якоря 6-ого Января в крещенье, рано утром, при попутном ветре, а к вечеру задул противный, и мы лавируем то правым, то левым галсом, а вперед почти ни

* Далее в рукописи неправильная черта, точно от толчка под руку. [Ред.]

на шаг. Делать нечего: казенные бумаги мы все отправим с консулом, снимаясь с якоря, тогда и я послал письмо к Кореневу и Майкову, а это письмо пошло с английским лоцманом, который провозжает нас по всему каналу, до самого океана. Делать, я говорю, теперь нечего: маленький, 13-летний Лазарев² (сын адмирала), с которым я по просьбе капитана занимаюсь русским языком, занят теперь делом: его тошнит или травит, как здесь шутя говорят, толкнешься к отцу Аввакуму—тот или сидит у адмирала и кушает или почивает; чиновника из Министерства Иностранных Дел³ травит плуце Лазарева; капитан и офицеры в свежий ветер неистово преданы своему делу, кричат, командуют, все наверху, мой сосед, милейший добрый Посьет пишет вот рядом со мной письма. Отчего же и мне не написать? Я знаю, что Вы не будете в претензии, как бы и что бы я не написал: видите, как я уверен в Вашей дружбе!—Плавание в бурное время по Английскому каналу считается не совсем удобным: место не широкое, раздолья большому судну мало, а валяет на обе стороны так, что держись: от того и берут лоцмана, хорошо знающего местность. Он и в туман, по гунту, доставаемому лотом, узнает место и указывает, куда держать. Всего опаснее ночи: боятся, как огня, встречи с кораблями, которых снует по каналу взад и вперед множество. Если столкнуться с кораблем побольше нашего, то мы пойдем ко дну, если поменьше, то ему худо, но во всяком случае, если и не ко дну, то обломает и то и другое. От этого, лишь завидя впереди огни, поднимают вопли, жгут бенгальские огни, а иногда и палят, чтобы дать знать о себе встречному судну. Моя каюта, как Вы видели, сверху, и я все не могу привыкнуть к шуму, постоянно раздающемуся у меня над самой головой, особенно в бурю, когда работы, а с ними и шум, усиливаются. Тогда я беру подушку и отправляюсь спать в кают-компанию, на диван с не малым ворчаньем и *de très mauvaise humeur** на качку. Вот уже это третью ночь так делается: напрасно я хочу заснуть, только одна дремота, вдруг толчок на бок, все заскрипит, зашевелится, и быстро проснешься: опять знаешь — потянут какие-нибудь брассы или шкоты, или фалы, человек пятьдесят затопают ногами — как не взбеситься? Но вчера мне совестно стало за свою досаду: я лег в кают-компанию и начал засыпать несмотря на сильную качку, как вдруг выбежал из своей каюты в одной рубашке бедный Гошкевич, чиновник: он со стоном бросился на круглый диван, потом перебежал на скамью, потом лег на пол, и нигде не находил места. Его рвало желчью; он мучился и тоской, и головной болью. Я дал ему воды, а потом уж не знал, что делать: нашел на полу кусочек апельсиновой корки и дал ему пожевать, думая, авось поможет. Нет, ничто не помогает: я оставил его и заснул, если не сладко, то весьма покойно: но мне и сквозь сон все слышались его стенания. Многих укачивает, между прочим и некоторых офицеров. Иной командует стоя на верхней скамье, потом его потравит за борт, и он опять командует. Между прочим и адмирала однажды тоже укачало. Это здесь ни по чем. Матросам просто не велят укачиваться: пусть его травит, а он все-таки должен делать свое дело. Вчера что-то медленно накрывали на стол. Первый лейтенант послал узнать о причине; ему донесли, что повара укачало. Он строго послал ему сказать, чтобы его не укачивало — и обед тотчас подали. Я третьего дня почувствовал было какой-то нарек на дурноту, но без всяких последствий, и не от качки, а от посторонних причин: я целый день не выходил на воздух, потом обедал, выпив разумееется две-три рюмки вина, и доспался до того состояния, до какого бывало, и я, и Вы, Михаил Александрович, сыпали и дома, т. е. проснешься и чувствуешь, что на голову надета горячая сковорода, а рта не разожмешь сразу, так в нем слипнется все от твердого и тяжелого дыхания. Вы в таком случае прибегали, помнится, к бане, как самому полезному средству, а я искал спа-

* Очень сердитый.

сения в соде. Вот и здесь со мной случился такой же грех, а я еще выкурил трубку прекрепкого, купленного в Портсмуте табаку и вдруг почувствовал, что меня как будто хочет укачивать, но я уверил себя, что это глупость. И в самом деле, только лишь вышел на воздух, как и следов не осталось. Так до сих пор морская болезнь и не коснулась меня, аппетит, как у кадета в Воскресенье, а морской воздух почти совершенно заменяет моцион. Если Майковы получили и читали Вам мое письмо, то Вы уже знаете, что мы идем не через Америку, а через мыс Доброй Надежды, потом через Зондский пролив в Манилу, оттуда к маленьким островкам, под 27° с. ш., Бонин-Сима, где к нам пристанет русский корвет и еще компанейское судно, назначенные идти вместе. С нами же отсюда вышла и шхуна паровая, купленная здесь, она ныряла, как утка, а потом и разлучилась с нами: От Бонин-Сима пойдем уже в Китай и т. д. Обратный путь предполагается через Америку. И обо всем этом гораздо меньше толкуют, нежели, как бывало при сборах куда-нибудь в Царское Село или Оранienбаум. А хотите знать расстояния? От Англии до Азорских островов 2 250 мил (каждая миля 1¾ версты), оттуда до экватора 1 020 миль; от экватора до мыса Доброй Надежды—3 180 м.; от М. Д. Н. до Зондского пролива 5 400, да нет, скучно: лучше проехать, нежели считать. Узнавайте через Александра Петровича Коренева, куда и как отправлять ко мне письма. Если напишете, тотчас же и отнесете Ваше письмо или к Кореневу или в Азиатский Департамент Министерства Иностранных Дел к столоничальнику Заблоцкому, а если случай есть, то к самому Любимову, так может быть поспеете к здешней Ост-Индской почте, и тогда я получу Ваше письмо на мысе Доброй Надежды. Из Азиатского Департамента отправят письмо с казенными депешами и скажут Вам адрес. А Вы просто напишите такому-то, на русский фрегат Паллада, по-русски и по-английски: *to be forwarded on board of the russian frigate Pallas.* * И впоследствии не уставляйте время от времени писать и отдавать в Азиатский Департамент, справляясь там, когда посылать. Ну до свидания. Скоро второй час, сейчас обедать, а до тех пор надо побегать по палубе, или лучше сказать потанцевать, потому что в строгом смысле ходить нельзя.

Огромные, зеленого, почти изумрудного цвета волны горами катятся, и фрегат с треском, охая тяжело, с трудом переваливается через каждую такую грядку. Берегов не видать.— До вечера.

11/23 Января. До вечера: как не до вечера! Вот только на третий день после того вечера я мог взяться опять за перо. Теперь я вижу, что адмирал был прав вычеркнув в одной моей бумаге слово непременно. На море нет непременно, сказал он. И точно нет. Мы при попутном ветре хотели непременно выйти в океан, а вот уже только в сию минуту проходим знаменитый Эддинстонский маяк, огромный столп, построенный на камне среди моря. Бурун хватает, говорят, до самого фонаря. Что же помешало мне писать к Вам третьего дня вечером? Буря, но ведь какая! Я лег было после обеда спать, как нашел первый шквал: это проходное облако с дождем, градом и молнией. Суматоха поднялась страшная, беготня, топот, командование и свистки. Облако набежало на фрегат, затрясло, закачало и вымочило его. Но я так тепло укрылся в своей койке, что как ни любопытно было подойти к окну и отдернуть занавеску—но искать туфли, надевать халат! так и перетерпел любопытство, а потом, когда стало опять светло, утешил себя мыслью, что не успел. Вдруг опять потемнело; ветер загудел, как в лесу, рванул фрегат в одну, в другую сторону, и опять прошло. Через четверть часа опять стало темнеть; вижу, что спать нет возможности от возни наверху,—ничего делать—оделся собственноручно и вышел на палубу. Там было все начальство—и вся команда, разумеется

* На борт русского фрегата «Паллада».

кроме отца Аввакума, который насчет бурь и качки одинакового со мной мнения, т. е. что удобнее быть в горизонтальном положении и преимущественно в своей койке, нежели стоять на ногах, когда качает. Его тоже не укачивает. Между тем чиновник Гошкевич³, отнюдь не разделяя нашего мнения насчет горизонтального положения, должен однакоже поневоле последовать нашему примеру, по невозможности стоять на ногах, так сильно травит его. Шквалы все сильнее и сильнее, повторялись весь вечер и всю ночь, самую беспокойную с тех пор, как мы выехали. Я добрался кое-как до кают-компаний и опять-таки лег там на том самом голубом диване, который Вы, Михаил Александрович, видели в верхней каюте, и даже не, помните, сидели на нем, ожидая долго Бутакова. Офицеры то бегали наверх, то сбегали покурить, а качка все усиливалась. Фрегат рылся носом в волнах или ложился совсем на бок. При одном таком толчке, прежде нежели я опомнился, меня с диваном бросило от стены в сторону. Сначала бывшие тут офицеры: Криднер⁴, Бутаков, Лосев напугались, думая, что диваномшибет меня, но когда увидели, что диван помчался к дверям, а я перевалился прямо на софу, устроенную около бизань-мачты, разразились хохотом, за ними и я. Они удивились, с какой ловкостью и как быстро я улегся на новом месте и как покойно падал, вытянув руки и ноги, как будто заранее приготовился. Но и всякий из них что-нибудь да получил: тот плечом хватился о косяк, другой приобрел шишку, ударившись головой о потолок, а третьего озадачило дверью.

¹ Льховский, Ив. Ив. — см. выше прим. к письму № 3.

² Лазарев, М. М. (Миша) — сын адмирала Лазарева, учителя и ближайшего начальника всех главных лиц экспедиции, начиная с Путятина, Унковского, Бутакова и т. д. По просьбе вдовы Лазарева Путятин взял с собой 13-летнего Мишу Лазарева в экспедицию в качестве юнкера флота с намерением сделать из него «лихого моряка». Однако из этого ничего не вышло. Юный Лазарев не обнаружил большой склонности к морю, но проявлял большие музыкальные способности. Специально для него Унковский поставил в своей каюте пианино, и мальчик доставлял всем много удовольствия своей игрой. О его дальнейшей судьбе у нас нет никаких сведений.

³ Гошкевич, О. А. («О. А.», «О. А. Г.» очерков) — чиновник Министерства иностранных дел, знаток Дальнего Востока, прикомандированный к адмиралу Путятину драгоманом. Впоследствии первый русский консул в Японии.

⁴ Криднер, Н., барон, лейтенант гвард. экипажа, бывший адъютант великого князя Константина Николаевича. Наиболее близкий Гончарову человек из всей кают-компаний. В Очерках дана его тонкая характеристика («Б. К.» «Б», «К»), как эгоиста и эпикурейца. Сведений о нем нам не удалось собрать. В Общем Морском Списке он не числится. Очевидно, тотчас вслед по возвращении из экспедиции ушел в отставку или переменил службу. Лосев, Н. В. — старший артиллерист на «Палладе».

Конец письма не сохранился. Повидимому, он уже по возвращении Гончарова из путешествия был использован им для подготовки печатного текста очерков.

7. ЯЗЫКОВЫМ И МАЙКОВЫМ

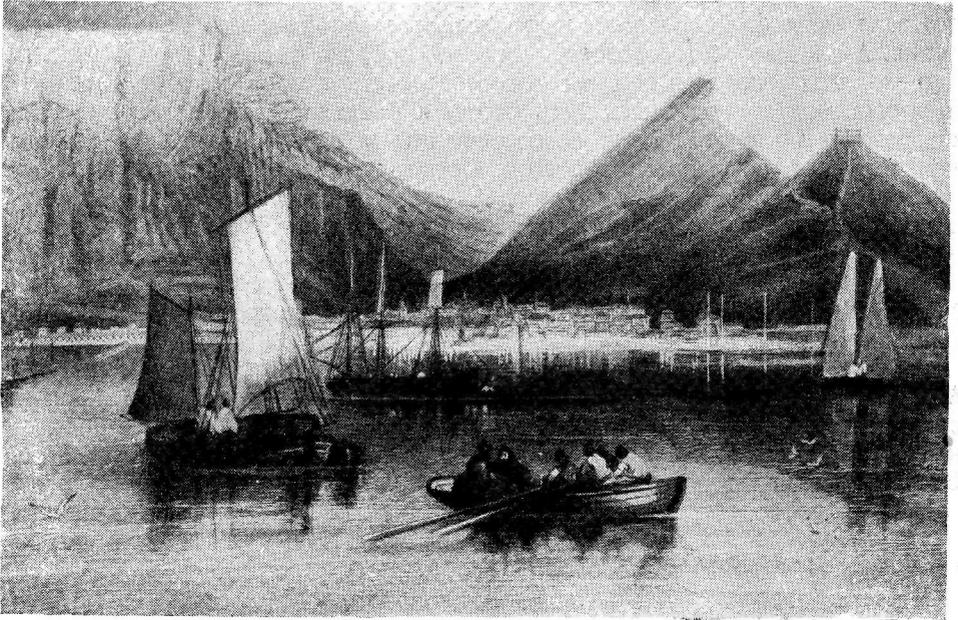
18/30 января 1853 г. Фунчал, на о. Мадере

Милые друзья мои Языковы и Майковы!

Пишу Вам общее письмо, потому что решительно нет времени писать особо. Неделю тому назад я писал к Вам, Мих. Алекс., последнее письмо, и большое из Портсмута, а теперь вон уже где я: на Мадере! От Англии до этого острова считается 1 200 итальянских миль (около 2 000 верст): мы пробежали их в пятеро суток с небольшим, случай редкий, но нас гнал штормовый ветер, и мы плыли буквально между двумя рядами холмов, из которых каждый величиной по крайней мере с Парголовский Парнасс. Не стану описывать, чего натерпелся в этом плавании, когда фрегат кладет то на один, то на другой бок, когда все на нем так и ходит взад и вперед, все скрипит, трещит и вот того и гляди развалится. И это пятеро суток,

не переставая. Я и трусил жестоко, и каялся, что впрочем предвидел до начала путешествия, и даже не раз падал духом. А мы пробежали всего пятую часть одного океана, а их надо переплыть три или четыре. По временам находит сомнение, выдержу ли я. По ночам я валяюсь одетый, кое-как и где ни попало, днем тоже ищу покойного угла и не нахожу. Но подивитесь: если бы мне теперь предложили воротиться, я едва ли бы согласился.

За пятидневные страдания я чувствую себя вполне вознагражденным. До сих пор все еще было холодно, даже и тогда, когда мы были на параллели Португалии и Испании, но едва только сегодня подошли к Мадере, как солнце начало печь, как едва ли печет у нас в июле. Мы все высыпали на палубу: чудный островок, как колоссальная декорация, рос в наших глазах — и вот оно передо мной, все то, что я до сих пор видел только на картинах,



КАШТАДТ

Современная гравюра

видел и сомневался. Я чуть не заплакал, когда на меня дохнуло воздухом, какого легкие мои не вкушали никогда. Я разумеется сейчас же бросился на берег и по мере того, как шлюпка подвигалась к земле, ароматический запах трав и цветов становился сильнее. Адмирал, я, старший лейтенант и маленький Лазарев обедали у консула, который не знал, как и чем нас угостить. Само собою разумеется, что мадера всех сортов и цветов играла в последнюю роль за обедом и после обеда; за десертом стол покрылся всевозможными фруктами и цветами: бананы, апельсины и еще какие-то невиданные и неслыханные плоды красовались вместе. Мадера имеет между прочим ту особенность, что на ней растут и тропические и наши северные растения. Я взял один цветок и сказал хозяйке, что вложу в письмо к соотечественникам несколько листиков с этого цветка. Вдруг моя португалка (консул португалец) прыг в сад и нанесла кучу цветов, прося послать несколько листиков и от нее. Я этого бы не сделал, разумеется, а сказал так только, чтобы как-нибудь ее поблагодарить за гостеприимство (она молодая, хорошенькая, бледная с черными глазами и чудесно сложена), но теперь вот посылаю Вам, Евгения Петровна, Екатерина Александровна, Юния Дмитриев-

на и Элликониды Александровна — Вы, кажется, все охотницы до этой дряни, не подеритесь только — это память с Мадеры. Но главная часть моего пребывания на Мадере ознаменовалась преоригинальной поездкой в горы. Консул и товарищи мои пустились верхом. Я тоже подумывал было занести ногу на серого коня, но вспомнив, как дорого обходились мне такие поездки болью в ногах, остановился в раздумьи, как вдруг хозяин предложил, не угодно ли мне ехать хоть в паланкине. Весьма угодно — и вот явилось двое португальцев с носилками: это нечто в роде детской колясочки — и помчались в горы, между виноградищами, а двое мальчишек, из которых один болтал по-французски, а другой по-английски, шли по бокам. Надо было лечь в коляску, и я, вообразив всех Вас около себя, помирал со смеху, а потом привык, как будто это всегда должно быть так. По каким местам они несли меня, где я останавливался, что видел, всего не опишешь. Скажу только, что если бы я больше ничего не увидел, то было бы и этого помнить всю жизнь. А они говорят, что еще у них зима, природа слышь — мертва и т. п. Что же летом, когда я не знал, что мне делать в моем суконном пальто? Прогулка моя продолжалась пять часов, я въехал с одной стороны горы, а воротился по другой. Вдруг на встречу мне мои дон-Кихоты. И мы, глядя друг на друга, разразились хохотом. Носильщики еще на половине дороги заметили, что я должно быть толст. Они останавливались у трех трактиров и потчивали меня вином, но как я мочил только губы, то пили усердно, разумеется на мой счет, а пот с них ручьями. Что за край, что за воздух, что за небо! Ах, друзья мои, зачем Вас нет здесь: не уехал бы никогда кажется! Сами жители признались, что у них никогда трех дней не бывает дурной погоды.

Обнимаю Вас всех, Михаила Александровича, Катерину и Элликониду Алекс., Евгению Петровн[у], Никола[я] Аполл. и Аполлона, и Владимира с женой (ей тоже листок) и Львовского и всех, всех, не забудьте поклониться Александре Александровне и Андрею Андреевичу, братьям Вашим, Вячесл. В. и Ростовским и особенно другу моему¹.

¹ Относительно лиц, которым передаются приветствия и поклоны см. примеч. к письмам №№ 1, 3, 4.

8. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

17/29 марта 1853 г.

Мыс Доброй Надежды
Capetown, Капштат тож

Получили ли Вы мое письмо с о. Мадеры, от 18 января? Я кажется писал оттуда в одном письме с Языковыми. А теперь вот уже где мы, или вот еще где мы! Это первая станция нашего огромного путешествия. Я не считаю за станцию Мадеры (sic), где мы пробыли один день, ни островов Зеленого Мыса, куда тоже забежали освежиться и оправиться на одни сутки, и именно на о. Сант-Яго, в Порто-Прайя. Тут я видел первый, но полный образчик африканской природы и климата. Зной, песчаные холмы, гранитные скалы, а между ними в долинах роскошнейшая тропическая растительность: банановые, кокосовые, фиговые и другие рощи, а рядом опять жгучий песок, голь, нищета в природе и людях. Весь переход от мыса Ли з а р да до мыса Доброй Надежды мы сделали в 63 дня, т. е. выехали от английских берегов 11 января, а сюда пришли 10 марта. Плавание в тропиках оборожительная прогулка. Больших жаров мы не испытали: вообразите дней пятьдесят отличной погоды где-нибудь в деревне среди садов и полей, где небо ни разу не поморщится. Над палубой ставили тент, и лучи до нас и не доставали. Впрочем жар ни в северном, ни в южном тропике не превышал 23°, в тени разумеется. Экватор

мы пересекли 3 февраля в 5 часов утра. Все почивали и я тоже. Но мы еще накануне собрались у капитана и, не переходя экватора, поздравили друг друга теплым шампанским. Что делать? Где взять холоду в тропиках? Один из нас, старший штурман¹ пересек его 11-й раз. Видели мы и акул, и летучую рыбу, и прочие тропические особенности. Всего удивительнее тамошние вечерние зори и колорит неба вечером. Ни красками, ни пером этого неба и облаков не опишешь. Так вот я прошел тропики, удара избежав: не знаю, что будет дальше. Нам обещают страшную жару в Китайском море, которое лежит в северном тропике, а мы предполагаем быть там летом — т. е. в июне — июле месяцах. Это самое жаркое, да и самое ураганистое время там. Теперь мы пока приходим всюду к осени. На Мадере и островах Зеленого Мыса были в январе, стало быть зимой, лето было тогда в южном полушарии, солнце перешло назад, и мы пришли сюда к началу осени. Вы, Аполлон, перед моим отъездом говорили, что магнитная стрелка переворачивается, слышь, на экваторе вдруг от севера к югу. Нет, душа моя, такого фокуса не бывает — один конец все-таки продолжает показывать к сезеру, а другой к югу — зане оба конца намагничены и каждый вечно показывает свой полюс*. Есть однако перемена, но не такая, как вы думаете: стрелка ложится только горизонтально на экваторе, и то не на общем, а на магнитном экваторе, который лежит тремя градусами южнее настоящего. Да еще, кажется, Филиппов говорил, что штилевая полоса лежит на 3° по обоим сторонам экватора: неправда: она начинается и кончается в северном полушарии, начинается иногда в шестом, а когда в пятом градусе и кончается в третьем или втором, различно. Тут же, в северном полушарии, встречается и южный пассат.

63 дня в море! «Верно соскучился» — скажете Вы: нет, время проходит с невероятной быстротой, особенно если призаймешься. У меня было не мало дела. Я вел и веду общий журнал, прохожу словесность с гардемаринами по просьбе адмирала, несобал вести и свои записки, но сделал очень мало. Причиной этому моя несчастная слабость вырабатывать до нельзя.

Материалов т. е. впечатлений бездна, не знаю, как и справиться, времени недостает, а если откладывать — пожалуй выдохнешься. Жалею, что писал Вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записки и потом все это прочесть Вам вместе, а теперь вышло ни то, ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом большую часть событий я обязан вносить в общий журнал² — так и не знаю, выйдет ли что-нибудь. Впрочем постараюсь: одна глава написана — это собственно о море и о качке. Читал — смеялись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще не дотрагивался. Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я все воображаю на своем месте более тонкое и [умное] перо, например, Боткина, Анненкова и других — и страшно делается. Зачем де я поехал? Другой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-нибудь в Европе, а не вокруг света!

Миль за 300 до Капа нас прихватил опять свежий ветер и качка. Что это за скука! Мы в тропиках отвыкли было от этих удовольствий, а тут опять. К счастью это продолжалось дней пять. Но ведь пять дней ни читать, ни писать, ни есть, ни спать порядочно нельзя. Мы остановились не в Столовой бухте, а в Сеймонс-бей (Simons-bay), в которой безопаснее стоять судам**. Та слишком открыта ветрам. В Сеймонс-бей всего десятка три домов,

* Только чем ближе к полюсу, тем более конец стрелки наклоняется к своему полюсу, так что на самом полюсе стрелка должна стать вертикально [прим. Гончарова].

** Сеймонсбей составляет маленький уголок большого залива, назв. Falsebay [прим. Гончарова].

английское адмиралтейство и красный солдат на часах — Англия везде и всюду, куда ни сунешься. На островах Зеленого Мыса, на Мадере, здесь — все негры, мулаты, готтентоты и малайцы (этих много навезли сюда еще голландцы), все говорят по-английски, хотя острова Зеленого Мыса принадлежат португальцам. Учитесь, друзья мои, по-английски, учитесь, чтобы ехать путешествовать, скоро надо будет учиться по-английски, чтобы с большим удовольствием дома сидеть. Я благословляю судьбу, что учился, и теперь от беспрестанной практики наострился хоть куда. Иначе путешествие не в путешествие.

Фрегат наш теперь разоружили: он очень безобразен. Его раснастили, спустили реи, весь тяжелаж. Это будет продолжаться еще недели две или больше, а мы неделю здесь живем. Все попеременно ездят в Капштат, дня на два, на три. Капштат от Сеймонс-бей всего 18 миль (30 верст). Дорога чудесная: сначала идет между страшных утесов по морскому берегу, а потом до аллее между дачами и фермами. Я вглядываюсь в траву, в песок, в камни, в деревья, в птиц — и нет уже ничего, ни былинки, которая бы напоминала о севере. Все другое. Рыбы, Николай Аполлонович, ловится бездна, просто пустят толстый крючок и кусок говядины, сала, чего хотите, и вытаскивают огромных и вкусных рыб, похожих немного на наших лещей. Удят все матросы. Попадается ядовитая рыба, прекрасная, но есть нельзя. Если съесть, то умрешь через 5 минут. Было несколько примеров тому. Теперь, когда является чужое судно, капитан над портом посылает печатную программу, как вести себя в порте, и в этой программе упоминается и о рыбе, чтобы матросы ошибкой не ели ее. Ее иногда выбрасывает на берег, и если свинья съест, то закружится и тут же околевет. — Ну вот, любезный Лховский: я и в стране змей. Берег и горы в Сеймонс-бее покрыты мелким кустарником: в полдень просят не ходить близко к кустам, выползают змеи. Но я и барон Криднер ходили: однако не видали их. По дороге в Капштат жгут траву и кусты, чтобы расчищать места для поселений и выгнать змей.

Завтра семеро нас отправляемся на семь дней далее во внутрь. Адмирал был так внимателем и любезен, что спросил, как бы желал я путешествовать. Я объяснил ему, что путешествие по берегам не очень занимательно, что надо стараться, как можно подалее проникать внутрь, а без знакомых этого сделать трудно. Он вчера же отправился в Капштат и устроил нам презанимательную поездку.

Взая у здешних банкиров рекомендательных писем к разным лицам по колонии. Один банкир сыскал нам экипаж, проводника и даже распределил порядок дней, станций и предметов, которые нужно осмотреть. Между прочим есть у нас письмо к английскому инженеру, который делает дорогу. Он нам покажет замечательные места, между прочим горячие источники, потом тюрьмы, где содержатся преступники из всех племен Южной Африки. Предположено ехать одной, а воротиться другой дорогой. На возвратном пути хотим осмотреть Констанскую гору и знаменитые виноградники. Всюду у нас есть письма. На этой горе содержится один из предводителей кафров с женой, и его хотят показать нам. Вы по газетам знаете, что война с кафрами кончена и заключен мир — только надолго ли, бог знает. План очень хорош: каково-то будет исполнение? Нас поедет семь человек³. Адмирал всем дал занятия на все путешествие. Одному, Гошкевичу (чиновнику М. И. Д.), поручена геологическая часть, доктор со шкуны, ученый немец, займется ботаникой. Посет, которого Ю. Д. видела (рыжий офицер), изучает голландский язык. Едет еще молодой мичман в помощь Гошкевичу. С нами едет и фотографический прибор для омиания местности и типов жителей также. Вы видите, что это целая экспедиция. Мне надо будет внести все подробности в журнал. — Ехать завтра, ранехонько, — часов в 6 утра, в огромной повозке на 6 или 8 лошадах, как здесь вообще путешествуют.

Странно это Вам слышать от меня — в экспедицию — в Африке — внутрь края — ранехонько. Я ли это? Да; я: Ив Ал. — без Филиппа, без кейфа — один одинехонек с sac-de-voiage едет в Африку, как будто в Парголово. У меня трость с кинжалом, да и ту, я думаю, брошу — мешает; у барона пара пистолетов за поясом, вот и все. У прочих не знаю, что. Я полагаю, что мы это все оставим, а возьмем лучше побольше сигар.

Вчера мы сделали огромную прогулку по всему Капштату, к подошве Столовой горы, рядом с ней Чортова, слева, а справа Львиная гора.

Львиная гора в самом деле похожа на лежащего льва, а вот Столовая, не знаю почему Столовая гора. Это просто плоскость, обрубленная отвесно. Как хотите, так и назовите: фортепиано, стол, стена какой-то крепости или площадь. Вчера она накрывалась скатертью т. е. облаками, которые спускаются по обрыву. Это очень оригинально. Впрочем, это уже не ново для нас: в первый день приезда один из утесов в Сеймонс-бее накрылся туманом, как париком. Я не понимаю, как ходят на Столовую гору; с вида она не приступна. Нам показывали тропинку, но ее трудно простым глазом видеть. Наши, т. е. адмирал, капитан и некоторые офицеры, хотели было итти сегодня на гору, да невыносимо жарко, отдумали. Я объявил, что ни за что не пойду ни на какую гору, если она выше трех сажень, также точно как без крайней необходимости не поеду верхом. Если уж нельзя иначе, так нечего делать. А то вот сегодня наши приехали сюда верхом, да теперь и не могут ходить. (Сию минуту ворочусь: звонили завтракать — это уж в третий раз сегодня, а теперь всего два часа. Будет в 6½ часов обед, а там еще что-то).

Нас человек 10 завтракали: мне досталось хозяйничать, т. е. разливать и разрезывать. Все перепортил. Я бросил и передал нож слуге малайцу. Мы объедаемся виноградом. Вкуса и букета ни с чем сравнить нельзя. Никто, нигде не ел такого. Еще продолговатые арбузы в 3 четверти длиной, но не важные, груши и прочее тоже хорошо, свежие фиги и т. п. Но главные плоды уже прошли. Когда опять перейдем экватор и вступим в северное полушарие летом, там надеемся вознаграждать себя. Констанское или Калское вино так себе: мадера, красное — изрядны, а сладкое приторно и напоминает малагу.

Я надеялся получить здесь письма от Вас, но обманулся, и мне стало скучно. Верно Вы не получили моего письма, где я просил Вас адресовать письма через Азиатский Департамент на мыс Доброй Надежды, или поленились поскорее отвечать. Другой пароход должен привезти; но мы его, я думаю, не дождемся, и бог знает, где они застанут нас. Вы все таки пишите через Азиатский Департамент — где-нибудь да застанет.

До свидания, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, Юлия Дмитриевна, Аполлон, Владимир, Катерина Павловна, Бурька и все, и все: всем привет; прочтите письмо Языкову. Ему я тоже пишу, но коротенькое; Льховский Капитан, Александр Павлович верно прочтут у Вас⁴.

Ваш И. Г[ончаров]

Если вернусь, подробности путешествия перескажу, а если запишу их — тогда прочту.

Кланяйтесь Бенедиктову: скажите, что Южный крест — так себе, из Китая напишу к нему⁵. Я писал еще Языкову и Кореневу⁶.

⁴ Старший штурман («дед» — Очерков) — А. А. Халезов, знаменитый в летописях балтийского флота. Поход на «Палладе» был 4-м кругосветным плаванием Халезова, который между прочим участвовал в 1848—1849 гг. в экспедиции Г. И. Невельского на транспорте «Байкал», установившей окончательно, что Сахалин — остров и описавший устье Амура, что дало энергичный толчок к дальнейшему продвижению русских на Дальнем Востоке и послужило одним из поводов к до-

сылке Путятина в Японию. См. Н. Ивашинцев, «Русские кругосветные экспедиции», СПб, 1872 г.

² Общий журнал. Кроме «исханечного журнала», где отмечались специальные морские сведения, приказы и распоряжения, на судах велся еще «Общий журнал» с более разносторонней и подробной подневной записью. Именно этот журнал было поручено вести Гончарову. К сожалению, несмотря на все поиски, нам не удалось найти его.

³ В поездке внутрь Капской колонии, кроме Гончарова, участвовали: К. Н. Посьет, Гошкевич Р. А., д-р Гейнрих Вейнер («доктор», «В.»—Очерков), Криднер и мичман Зеленый П. А. («З», «П. З.»—Очерков), впоследствии анекдотический одесский градоначальник, прославившийся своим бешеным самодурством, а тогда еще добродушный и простоватый юноша и лихой моряк, отличившийся потом во время похода на Аскольде с Унковским.

⁴ Приветствия передаются тем же лицам, как и в предыдущих письмах: Евг. Петр. и Ник. Ап. Майковым, Юн. Дмитр. Ефремовой, Апол. Ник. Майкову, Владимиру Ник. Майкову и его жене Екатерине Павловне, Бурька—Леон. Ник. Майков (см. прим. к п. № 1); Льховской, И. И.—см. в прим. к п. № 3; Капитан—К. А. Майков; Александр Павлович—Ефремов—муж Юнии Дмитр.

⁵ Бенедиктов, В. Г.—речь идет о созвездии Южного Креста, о котором Бенедиктов писал в послании Гончарову: «И ты свершишь плавучие наезды—В те древние и новые места, Где в небесах иные блещут звезды, Где свет лиет созвездие Креста...».

⁶ Языков, Мих. Ал.—речь идет о письме № 9; Коренев, А. П., сослуживец Гончарова. Письма к нему Гончарова—неизвестны.

9 Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

Капштат 17/29 марта
Мыс Доброй Надежды

Любезнейшие друзья

Михайло Александрович и Екатерина Александровна!

«Где я? — имею я полное право воскликнуть теперь. Вот уж неделя, как мы на якоре в Falsebay, в 18 милях от Капштата и вот второй день, как я здесь. Завтра мы отправляемся всемером верст за сто внутрь. Но прочтите письмо к Майковым, я там пишу поподробнее. Ваш Коля прав был, когда пророчил мне об Африканских людях. С них и началось наше путешествие. Мы с Мадеры пошли на острова Зеленого Мыса: это совершенный клочок Африки по климату, по растительности и по людям. Я набрасываю иногда заметки всего, что, вижу, и если достанет терпения и охоты обделывать это — то может-быть когда-нибудь, если бог даст свидеться, прочту у Вас за чайным столом о своих приключениях. Отсюда мы недели через две уйдем в Гон-Конг: это английская колония близ Китая: оттуда предполагается итти на острова Бонин-Сима, а там и в Японию. Но на море никогда нельзя непременно решить, куда зайти и куда нет. Что-нибудь сломается, испортится, или провизии неостанет — поневоле зайдешь, куда не хочется. Я здоров и не очень скучал, несмотря на то, что мы были в море 63 дня. Плавание в тропиках — наслаждение. Тишина и вечный умеренный ветер — пассат. Жару большого тоже не испытали. Иногда меня прихватывала — не скука, а хандра; вот ее-то я боюсь пуще всего. Она мешает мне во всем. Иногда впрочем оставляет меня в покое, и тогда я бываю совсем счастлив. Но ни путешествие, ни хандра не мешают мне толстеть. Я еще потолстел, и самому становится гадко смотреть. Платья узки, я ленюсь и тяжелею: вот что-то скажут здешние утесы и пески, по которым мы завтра пустимся странствовать на неделю или более.

К сожалению, некогда больше писать. Пожалуйста, заезжайте, милый Михайло Александрович, в Департамент, вызовите Андрея Петровича Коренева, скажите, что я ему кланяюсь, тоже Богаеву, Козловскому, Средину,¹ и что по возвращении из нашей экскурсии буду писать к нему. А теперь дайте ему прочесть эти письма: из них он узнает, что я и где я.

Кланяйтесь Августе Андреевне и Михайлу Алекс. с родителями,—

К. Н. ПОСЬЕТ

Один из участников экспедиции
на фрегате «Паллада»

Фотография

Военно-Морской Музей, Ленинград



обоим братьям Вашим тоже — Коршам, Анненкову и всем нашим приятелям.

Иногда ужасно хочется к Вам: так бросил бы все, да и назад, поиграть с детьми. Что третий Заш — сын или дочь? забыл что. Вы оба, здоровы ли? А Элликонида Александровна? ² — Обнимаю Вас всех без исключения.

Ваш Гон[чаров]

На меня наводит иногда хандру мысль — что еще далеко и долго ехать. Ведь мы сделали только всего 12 тысяч верст каких-нибудь, а надо всех сделать более 80 тысяч верст взад и вперед. Увидимся ли, когда? До свидания.

18 марта. Мы едем завтра, а не сегодня — не трудитесь заезжать к Корневу: я написал к нему.

Прощайте: звонят обедать (в гостинице): это уж второй раз сегодня, а в шесть часов опять обедать, в третий раз. Майковым кланяйтесь.

¹ А. П. Корнев, В. И. Богаев, Н. Ф. Козловский — сослуживцы Гончарова по Департаменту внешней торговли Министерства финансов; А. А. Средин — чиновник Министерства иностранных дел, знакомый Гончарова и Языковых.

² Элликонида Александровна Белавина — сестра Е. А. Языковой.

10. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

29 марта/10 апреля 1853 г. Капштат

Может быть сегодня, а может быть и прежде Вы должны получить от меня письмо отсюда же, перед отъездом моим внутрь Африки. Вот уж три дня, как я воротился в Капштат и живу опять в гостинице. На фрегат не хочется, да и здесь невесело. А когда подумаю, сколько еще надо странствовать, так духом и упаду. Одно поддерживает меня, что и в Петербурге

было бы невеселее *. Правду сказали вы, Евгения Петровна, в Вашем письме в Англию, что я не угомонный, хотя давая мне этот эпитет, Вы в то же время доказываете, что не поняли меня.

Что сказать Вам о наших приключениях. А ничего. Съездили верст на сто слишком, странствовали в ущельях по новой, только пробитой дороге, по таким горам, которых и во сне не видал. Над головой страшные утесы, а внизу пропасти еще страшнее. Оступись лошадь, и прощай все: полетишь с высоты футов в двести, в глыбы камней. В этих горах водятся тигры и большие обезьяны, но мы их не видали. Были там в тюрьмах, где содержатся черные преступники всех здешних племен. Кафры, готтентоты, бушмены, финго etc., etc. рядом сидят или лежат скованные. Их употребляют на работы по дорогам. Осмотрели горячие источники, заезжали к фермерам в гости и вообще видели много нового и занимательного. Теперь надо все это записывать и вносить в журнал, прочитав наперед историю войны с кафрами. Это скучновато, да нечего делать — надо. — Я часто думаю о Вас, глядя на здешнюю природу: на дубовые рощи, на сады из всевозможных растений, которые у нас держатся за стенами. Например, из кактусов, алоя и других колочих и толстых растений, которые у Вас в маленьких горшечках берегутся на окнах, здесь делают плетни и заборы; не перелезешь через такой забор. Вчера ездили мы кругом Львиной горы — живописный вид. Весь залив — как на ладони, а по берегам голые каменные утесы. Между утесами, у камней, плещется такое множество рыбы, что, кажется, руками можно ловить. Я долго думал о Вас, милый мой Николай Аполлонович, и о Вас, Аполлон — верно, думал я, оба они сидели бы тут в белых шляпах и таких же куртках, замазанные, загорелые, и копались бы целый день. В добавок к Вашему удовольствию — невыносимая жара, какой у нас не бывает, и это еще осенью (здесь ведь осень). Летом, говорят, не знают, куда прятаться, а один доктор, приехавший из Индии в отпуск, говорил, что там зимой так жарко как здесь летом. Что же летом в Индии? спросил я. — Надо там быть, отвечал он, а объяснить этого нельзя. А мы говорим, что в Петербурге жарко. Вчера я вышел было на площадь, на базар, но через 10 минут должен был возвратиться и не мог часа полтора притти в себя. При этом жаре меня удивляет, что здесь мало тени, т. е. мало заботятся о разведении больших тенистых деревьев. Кругом города все дачи, но они окружены такими низкими деревьями, что негде спрятаться от жары. Впрочем все дома построены с жалюзи и навесами, и в комнатах духоты нег. Видно, деревья плохо растут, но я видел однакож в некоторых местечках целые дубовые рощи. Вообще же вид этой части Африки довольно печален: песок, мелкий кустарник и камни. Мы переправлялись в брод через многие речки, которые зимой, в дождливое время, превращаются в опрочные реки. Когда мы проезжали по песчаным равнинам, усеянным мелким разнообразным кустарником, в котором гнездится множество змей, ящериц и черепах (мы поймали двух маленьких черепах), М-р Бен, инженер, возивший нас в ущелье, сказал, что по этим равнинам мы можем судить о всей Южной Африке, кроме берегов. Вся она такова — горы, песок и мелкий кустарник. Путешествие наше продолжалось дней десять. Мы сделали верст триста взад и вперед. Есть места чрезвычайно живописные, — Паарль т. е. перл, Стелленбош и другие. Я рад, что видел их и имею понятие об Африке, но в другой раз не поеду. Пора на фрегат в Сеймонский залив, но там, говорят, затевают бал и обед в отплату данного нашим обеда. Вот я задумываюсь, куда бы деться от этих удовольствий? А тоска-то, тоска-то какая, господа, твоя воля какая! Бог с ней, и с Африкой! А еще надо в Азию ехать, потом заехать

* Особенно как если вернуся туда зимою, да вы запоете. Кланяйтесь Языковым; я им тоже писал перед поездкой внутрь, но боюсь, доходят ли письма; говорят, здесь почта не совсем надежна.

в Америку. Я все думаю: зачем это мне? Я и без Америки никуда не похужу: из всего, что вижу, решительно не хочется делать никакого употребления; душа наконец и впечатлений не принимает. Как бы все это пригодилось другому! Боюсь, выдержу ли я: что-то силы падают, хотя я и толстею.

Ну, а вы что? От чего от Вас писем нет? Говорят, еще пришел пароход из Англии, а мне ничего, кроме только одного письма, полученного через Англию — не от Вас. Ужели Вы ленитесь или забыли старого приятеля? Не поверю: не может быть. Я убежден, что мое место среди Вас сохранится для меня, если я только сам уцелею. Но когда подумаешь, сколько шансов не уцелеть, так и не верится, что воротиться. И море грозно, и пропасти в горах глубоко, или стоит какой-нибудь кобре-капелле кольнуть в пятку, или лучу солнечному поласкать северную лысину — вот и кончено. Вы что, друг мой Ю-ка¹, не подадите голоса, Вы аккуратнейшая из моих друзей? Здорвы ли все, что делают, что Ваш Александр Павлович² и девочка? Кланяйтесь ему и скажите, что я перегнал его и толщиной и усами. А Вы, юная чета³ здоровы ли? Глядите ли иногда на портрет старого холостяка, смеетесь ли над его сединой. Смейтесь, только чаще смотрите. Что Капитан? Также не у жи н а е т никогда, и все еще ходит к Креншиной?⁴ А Вы, милый Льховский. Ужели в Африку-то не напишете мне ни слова? Да Вам я — чай — некогда: поди все влюблены там в кого-нибудь? Мальчишка⁵, здравствуй: что каково учишься? начал ли глаголы из русской грамматики. Я бы теперь тебя вересковыми-то розгами да кстати и Марью Федоровну⁶ тоже, за то, что здесь чай скверный*.

Кланяйтесь всем и пока прощайте

Ваш И. Г[ончаров]

Обнимаю Вас, Аполлон, а если Вы женаты, то и жену — а вы обнимите еще кого-нибудь.

¹ Ю — ка, Ю н и н ь к а — Юния Дм. Ефремова.

² Александр Павлович Ефремов — ее муж.

³ Юная чета — Владимир Николаевич и Екатерина Павловна Майковы.

⁴ Креншина — осталась нам неизвестной.

⁵ Мальчишка — Леонид Николаевич Майков.

⁶ Мария Федоровна Пасовыева — игравшая в доме Майковых роль экономки.

11. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

Зондский пролив, в виду о. Явы
18/30 мая, 1853 г.

Вручитель этого письма — тот самый Бутаков (Иван Иванович)¹, который, помните, любезный мой друг, Михайло Александрович, еще нагрубил нам на фрегате тем, что заставил ждать себя часа два? Он оказался славным добрым малым, готовым на всякое обязательное дело. Примите же его и как вестника о приятеле и как хорошего человека, тем более, что у него в Петербурге знакомых — ни души. Он весь век служил в Черном море, — и не даром: он великолепный моряк. При бездействии он апатичен или любит приткнуться куда-нибудь в уголок и поспать; но в бурю и вообще в критическую минуту — весь огонь. Вот и теперь, в эту минуту орет так, что,

* В самом деле — чай отвратительный. На фрегате пока был русский чай хороший, а купили английского — никуда не годится: микстура. Сливки, Евгения Петровна, разве не много лучше Ваших, несмотря на множество ферм и скотства, как говорит наш доктор немец вместо скотоводства. Кофе тоже почти хуже нашего. Одно только и хорошо, что три раза в день обедают. Как встанут, сейчас и за говядину, за котлеты, часу в первом — смотришь — Арап звонит опять к обеду, а в семь часов еще, и ничего, желудок не расстраивается.

я думаю, голос его разом слышен и на Яве и на Суматре. Он второе лицо на фрегате, и чуть нужна распорядительность, быстрота, лопнет ли что-нибудь, сорвется ли с места, потечет ли вода потоками в корабль — голос его слышен над всеми и всюду, а быстрота его соображений и распоряжений — изумительна. Адмирал посылает его курьером просить фрегат поновее и покрепче в замен Паллады, которая течет, как решето, и к продолжительному плаванию оказывается весьма неблагонадежной. На другой или третий день по выходе с мыса Доброй Надежды нас трепнула буря, которая, обнаружив непрочность судна, и заставила просить другого. А то, пожалуй, пришлось бы слезть с него на чужом берегу или еще хуже, среди моря. Между тем мы идем в самые сомнительные, малоизвестные и ураганистые моря. Не знаем, дадут ли другой фрегат или велят воротиться через Камчатку и Сибирь. Последнее едва вероятно: куда деть 400 человек матросов? В Камчатке ни в одном порте не хватит помещения и продовольствия для них.

Вы конечно получили мои письма с мыса Доброй Надежды? К тем сведениям, какие там есть, прибавить почти нечего. 12-го апреля мы снялись с якоря и вышли в Южный океан. 14-го вытерпели вышесказанную бурю, потом понеслись по 11 узлов (18 верст) в час и вот в месяц донеслись до Зондского пролива, т. е. 5 800 морских миль, а это составляет ровно 10 000 верст. Да и засели у входа в пролив: трое суток продолжается мертвый штиль. До Батавии всего 30 миль, берег виден со всех сторон, с сопками, лесами, скалами, а не дается. Небо чудесно, особенно ночью: что за луна, что за звезды. Не хочется уйти с палубы. То мелькнет блестящий метеор, то сверкает ослепительная молния. Но что за жары стоят — а еще зима? Мы в 6-ом градусе южной широты, солнце теперь свирепствует по ту сторону экватора, а здесь дожди, тучи, грозы и жары, там же — просто жары. Не знаешь, куда уйти, куда деться. Днем жар палит, ночью душит. По лбу, по вискам, по щекам текут ручьи. А что еще ожидает нас по ту сторону экватора, куда идем через несколько дней? Не говорите никогда в России жарко, по крайней мере при мне: осмею. Но Иван Иванович Вам все расскажет. Если придется во время, то оставьте его у себя, вместо меня, на щи или на ботвинью, а вместо пирожного велите подать ему пару сырых луковиц — любит. Мы с ним на Мадере ходили у консула по саду и вдруг между ананасами, кофейными, банановыми деревьями и олеандрами, видим — что же? наш зеленый лук. Хотя нас ожидал за обедом десерт из тропических плодов, но мы взяли да потихоньку и съели с ним лучку.

Он Вам все расскажет: как я думал, что никогда не привыкну к морю и хотел воротиться, как шум каната, топот людей и свисток не давали мне спать, и я уходил уснуть в общую каюту, как прежде в качку не мог ступить шагу и просиживал по суткам на одном месте или ладал со всех ног при малейшем покушении пройти, как мечтал о возвращении и как наконец привык ко всему; в качку хожу, как матрос, сплю и не слышу под час пушечного выстрела, ем и не проливаю супа, когда стол ходит взад и вперед, как наконец привык к этой странной, необыкновенной жизни и как не хочется воротиться теперь. Конечно он скажет Вам то, что Вы очень хорошо знаете, т. е. что я тоже ленив, также не нахожу никогда досуга для работы, как мне все мешает дело делать, и качка, и жар и неловко сидеть, и неудобно писать и т. п.

Вы что, прекрасный, добрый друг мой Екатерина Александровна. Дайте мне руку, обе — цалую их с обеих сторон. Верите ли Вы, что меня нет, что я не прихожу ежедневно вечером показывать Вам свою большую физиономию? Я часто вижу во сне всех Вас и вашу залу, только не новую, а прежнюю, к новой не привык. Что Коля? Что Еня? А новая каково ведет себя? Часто ли приходится Вам краснеть за ее невежливости при гостях? Что друг мой Авг. Андр. делает? Я полагаю — то же, что Вы. — Здоровы ли Вы, Элликонида Александровна? Браните ли меня или застываетесь? Но авось

не приходится Вам делать ни того, ни другого: меня большая часть друзей, приходящих к Вам, забыли — пусть их — не забывайте лишь Вы.

Да где это я? Неужели в самом деле в Батавии, а не на Литейной у Симеона? Иногда сильно хочется уверить себя в противном, хочется победить к Вам, потом в клуб. Не верится мне что-то в эти океаны, в эту Яву, Суматру, не верится потому, что переходы морские как-то не заметны. Не увидишь, как проглотишь 10 000 верст. Я боюсь, что земля покажется мне чересчур мала, когда мы объедем ее всю.

Я никому не пишу, кроме Вас, а хотел бы написать к Майковым, разумеется, но я подозреваю их где-нибудь на даче (ведь у Вас лето теперь?), и мне совестно, если Бутаков будет понапрасну отыскивать их по городу и должен будет отдать письмо в прихожей. Вы дайте им прочесть это письмо и скажите, что я располагаю написать к ним с почтой из Гон-Конга, и к Кореневу тоже.

У Вас везде знакомые, мой милый Михайло Алекс. Не достанете ли Вы Бутакову билета в Эрмитаж? Ему хочется посмотреть. Но Вы так добры ко всем, что верно будете добры еще более к человеку, приехавшему изда-лека, да еще с вестями о многолюбящем Вас приятеле.

Вашему попечению, Екатерина Александровна, вверяю прилагаемое здесь письмо. Прикажете повернее отдать его на почту. Это к родным, а потому мне хочется, чтоб оно дошло. Я потому не прямо Вас прошу, Михайло Александрович, что видал не раз, как Вы, взяв письмо, счет и т. д. а иногда и деньги, положите в бумажник, потом ездите, ездите по городу, да и привезете назад, вместо того, чтобы отдать, где следует а иногда и потеряете. Вот я и надеюсь, что Екатерина Александровна не допустит Вас до такого гнусного поступка.

В Бутакове мы лишаемся еще и ночного собеседника. Четверо⁸ нас собираются всегда у капитана вечером закусить и сидим часов до двух. Вот и Иван Иванович (друг и товарищ Унковского, капитана) присутствует тут же.

Кланяйтесь пожалуйста всем знакомым, не забудьте Ваших родных, Коршей также, Анненкову (да не тут ли Вы, П. В.?) так возьмите поклон лично. И всем — всем, Никитенке, Одоевскому, Лонгинову, Современникам, и Отечественным Запискам⁴.

Напишите ко мне пожалуйста, да не мешкайте, в Гон-Конг. Уведомьте обо всем и обо всех. Адрес так:

Via England
Hong-Kong China
M-r. Gontscharoff
on board of the russian frigate «Pallas»
To the care of Mess-rs Williams Anthon et C^o,

а впрочем спросите Бутакова, не будет ли казенных отправлений. Он тоже будет писать.

19. Сейчас подходим к берегу, к Анжерскому рейду. Фрегат ожил, все приделось, зашевелилось. К нам наехало множество Малайцев — с бананами, ананасами, апельсинами etc. Полуголые, с жвачкой во рту, похожие на обезьян. А какой берег смотрит на нас: весь утонул в лесу, не то что на мысе Д. Н. Если нельзя ехать отсюда Бутакову на пароходе в Индию, то и мы не остановимся, а прямо пройдем в Сингапур, чтобы застать пароход, отправляющийся в Суец. Жаль, хотелось бы съездить в Батавию. До свидания: бумаг множество — тороплюсь.

Весь и всегда Ваш

И. Гон[чаров]

Когда мы стояли на мысе Доброй Надежды, туда же пришла и Двина. Опять мы свиделись с Колзакковым⁶.

¹ Бутаков, Ив. Ив. — старший офицер на «Палладе» — см. прим. к письму № 5.

² Коля и Еня — дети М. А. и Е. А. Языковых.

³ «Четверо нас» — И. А. Гончаров, К. Н. Посьет, Ив. Ив. Бутаков и сам хозяин, И. В. Унковский.

⁴ Корши — семья В. Ф. Корша; Анненков, П. В.; Никитенко, А. В.; Одоевский, В. Ф.; Лонгинов, М. Н.; Современникам — Н. А. Некрасову и Ив. Ив. Панаеву; Отечественным Запискам — А. А. Краевскому и С. С. Дудышкину. Гончаров всегда стремился сохранять одинаково хорошие отношения с обеими соперничавшими редакциями.

⁵ Колзак, А. А., тогда лейтенант, младший офицер на транспорте «Двина», Российск.-Америк. компании, шедшей на Камчатку. О нем см. пр. к письму № 4.

12. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

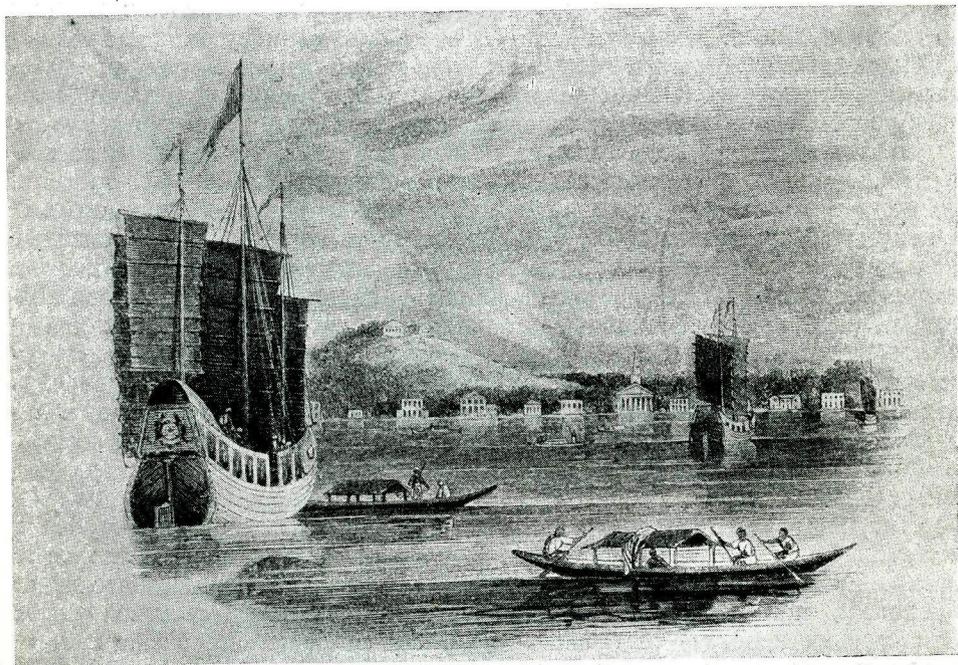
25 мая/7 июня 1853

Здравствуйте, Николай Аполлонович, Евгения Петровна и Вы все милые и милые люди.

Не хотел было я писать к Вам — сердит, что Вы не пишете, а еще подозреваю, что Вы где-нибудь на травке (ведь у Вас лето) жарите опенок, да не ловите рыбу, и потому боялся, дойдет ли письмо, не напрасно ли тружусь. Но авось. Не ожидайте от меня писем с описанием, картинками и т. п. За чем же пишу так много и так глупо к Вам? спросите Вы, имея полное право на то. А за тем, что для меня писать Вам, как я окончательно убедился, сделалось, или и прежде было, да я не замечал, такую потребность, как для Чичикова Петрушки — читать. Как он читать, так я люблю писать без цели, так, для самоуслаждения или пожалуй *ich singe wie ein Vogel singt*. Пишешь — выходят слова, строки, в которых что-то звучит, которые можно не только читать, но запечатать и послать друзьям. За чем же глупо пишу, следует вопрос? Тулею с летами — это раз, а потом — чуть явится путная мысль, меткая заметка, я возьму да в памятную книжку, думая, не годится ли после на что, хотя после холодного размышления сам же увижу, что ничего не будет. Третий вопрос: зачем к Вам пишу! Ужели отвечать на этот вопрос и ужели Вы его сделаете? Прибавлю к этому последнему вопросу только, что пишу с моря, боясь недосуга и суматохи, которой подвергаешься неминуемо, как только станешь на якорь. К вечеру надемся прийти в Сингапур, где на минуточку остановимся, чтобы ссадить нашего офицера Бутакова, отправляющегося через Ост-Индию в Европу и Петербург курьером просить другого фрегата вместо Паллады, отказывающейся служить, за ветхостью и дряблостью. Не дадут — так придется воротиться в Сибирь, и то еще хорошо, если придется воротиться. Но в Камчатке нечем кормить и негде поместить 400 человек, от того и нужно ехать морем.

Сингапур! Вот он мелькает множеством огней в темноте; мы сию минуту стали на якорь. Сингапур, Джахор — какие названия. Что за места? Воздух — точно в теплице, не просто жарок, а влажно жарок. К нам пристали миль за 40 четыре малайца. Они говорят, да я вчера в путешествии американской экспедиции и сам читал, что Сингапур изобилует фруктами. Они привезли нам несколько превосходных ананасов и завтра обещали бесконечное множество по доллару за сотню! Фруктов родится здесь до двенадцати сортов. Мы теперь в северном полушарии опять, в 2-х градусах от экватора. С нетерпением буду ждать утра, чтобы взглянуть на этот клочек Индии, восточный базар и европейский рынок, на котором толкуются до двадцати азиатских племен кроме европейцев. Корабли всех родов, форм и видов стоят на рейде; город — смесь Европы, Китая и Индии, торговля всемирная и без запрета, даже малайские пираты смело приезжают для сбыта награнных товаров. Какая ночь теперь, если бы Вы видели, друг мой Евгения Петровна: ни за что бы не легли так рано спать, как обыкновенно ложитесь. Я понимаю теперь, почему под таким небом рождаются поэтические грезы в роде индейских поэм, арабских сказок, почему воображение здесь создавало только гигантские

или страстные образы, перед которыми так бледны наши создания и от которых северному читателю делается тяжело, как от кошмара. Только в таком влажном, проникающем организм, раздражающем нервы воздухе и можно выдумать Сакунталу. Вот где бы делать любовь-то, в этом отечестве ядовитых перцев. Ах, Ю-ка¹, друг мой; зачем Вы не здесь теперь: мы бы предались индейской любви, и Ваше 19-летнее упорное сопротивление пало бы перед силой палящих лучей здешнего солнца, перед теплой сыростью воздуха, перед жгучестью крепкого перца. Да от меня ли Вы полно слышите все это—Ява, Сингапур, Джахор? Куда это занесет иногда судьба человека! и главное чем хорошо — занесет незаметно. Вы — дома: читаете, пишете в своей комнате, ложитесь в свою постель, мелькнет месяц, два, вдруг Вам говорят, что Вы за десять тысяч верст от того места, в котором были,



СИНГАПУР

Современная гравюра

кажется, вчера. Если придется Вам ехать далеко, ступайте морем — не заметите, говорю Вам. Давно ли был я на мысе Доброй Надежды (откуда писал Вам два письма)? А теперь, через 43 дня, перенесся за 6 000 миль (10 000 верст). Мы плыли счастливо: в 34 дня дошли до Зондского пролива и на сутки останавливались у о. Явы, но не в Батавии, которой избегаю г суда ради нездорового климата, а в 70 милях от нее, на Анжерском рейде. Сначала я возроптал, что не идем в Батавию, а потом обрадовался, когда съездил на берег в Анжере. Это маленькая деревушка, состоящая из двух-трех переулков без—домов. Живут там китайцы и малайцы просто в лесу. Сойдя на этот берег, я был почти счастлив: наконец я путешествовал, как мечтал путешествовать, среди лесов, в глуши, в невозделанной красоте. До сих пор, даже в Африке, мы ездили по расчищенным местам, по проложенным дорогам, заезжали в удобные отели: здесь ничего этого нет. Человек начинает врубаться в нетронутый лес, а лес-то состоит из кокосовых пальм, фиговых и множества других неизвестных мне, по крайнему моему невежеству в ботанике, деревьев, сквозь которых и пробраться нельзя. Мы целой

толпой пошли гулять и, несмотря на страшный жар, не утомились: так было все ново, прекрасно. Все противоположно виденному: в Африке глаз ищет зелени и едва находит кучу кустарников, везде серые мрачные утесы, здесь — негде ноги поставить на голую землю, все в зелени. Даже отдельные брошенные на воду камни, и те обросли деревьями, как бородами. В Анжере тем прекрасно, что никого, так сказать, нет. Здесь первенствуют еще звери, и природа дает им великолепнейшие квартиры в своих пальмовых лесах и тростниках, а несколько европейцев живут (трое) в низеньком кирпичном доме; есть и голландская крепостца с двумя-тремя пушками, в которые, я думаю, мальчишки тоже, как в Белгорской крепости², понабрасали камешков и всякой дряни; прочие же, т. е. малайцы и китайцы, живут в каких-то хлебах из бамбуковых жердей с крышами из кокосовых листьев. Китайцы, с косами, в своих костюмах, но отлично говорят по-английски; малайцы по пояс голые, а внизу кругом тела обернут в виде юбки кусок бумажной материи, да платок на голове — вот и все; под юбки же нет ничего, т. е. платья — я разумею — нет. Они навезли нам и обезьян, и попугаев, и оленей с барана ростом, и плодов, бананов, ананасов, кокосов и т. п. И вот опять у нас целую неделю до самого Сингапура появляются тропические плоды за десертом. Здесь-то, в этих жарах, мы познали сладость кокосовых орехов и постигли всю важность роли, которую он играет в тропических странах. В нем заключается жиденькое, разведенное будто водой молоко, утоляющее жажду, но не очень вкусное; а мы придумали выжимать и из ядра молоко, как из миндаля — вышло превосходное питье, соединяющее в себе своей аромат, немного похожий на миндаль, потом густоту коровьих сливок и прохладительность оршада. Я, как проснулся, мой Фадеев несет мне целую бутылку таких сливок, добываемых из одного ореха с небольшой примесью воды. Мы еще придумали есть это молоко с бананами. — Мы остались в Анжере, и вечером опять я вспомнил Вас, Евгения Петровна³, сидя на балконе Китайской лавки, в которой мы пили чай, лимонад. Что это за вечер! Этот животворящий, жаркий воздух, светлое тропическое небо, которое без луны блестит, как у нас в лунную ночь, наконец разнообразнейший говор, треск, вопли, чириканье птиц и насекомых. Вдруг в воздухе начали плавать те то звезды, не то огоньки — особенно красиво освещали они колоссальное дерево Баниан, под которым в Анжере располагается целый съестной рынок. Эти огоньки просто — светящиеся мухи. Мы наловили несколько и стали рассматривать, откуда это у них льется свет. Откуда бы вы думали, *mesdames*? Из-под хвоста! Да еще какой свет: фантастически зеленый, как бенгальский огонь. Ползет, а из-под хвоста так и льются лучи этого света, несмотря на свечи. Я перевернул одну, желая добраться до источника, что же: под самым хвостом помещена у нее прекрасная яркая звезда: каковы мухи? * Мы четверо шли по лесу сзади других и прозевали чудесную вещь: они вдруг увидали в мутной речке крокодила, пробиравшего [sic] по камням, бросились за ним, но он скрылся в чашу кустов, куда они не решились следовать за ним, боясь змей. Видели и даже убили змею. — Вечером малайцы сидели в куче на пятках на улице и одни готовили из какой-то дряни ужин, другие резали траву для жвачки. У всех за щекой набито этой травы; от этого у всех рот похож на трубку, из которой лет десять курил Жуковский табак. Мы уехали среди этой живой, полной призраков темноты и были как нельзя более довольны прогулкой. Уеду далеко, может быть вернуться в Россию, но долго мне не забыть Явы.

Вообще весь Зондский пролив, Ява, Суматра и мелкие острова — это будто сады зелени: не знаешь, куда смотреть, чем любоваться. У нас есть шкипер Яков Васильевич; я на другой день после Анжера спросил его, отчего не видать его почти никогда на берегу? Что там делать: по-ихнему,

* Вот что у них под хвостом: не то что у наших!

отвечал он, указывая на Анжер, я говорит не умею, да и не люблю как-то съезжать: берега — это только баловство и деньгам перевод; скажут, берег, должность позабываешь, тянет туда, а зачем-с? И он очень неблагосклонно поглядывал то на Яву, то на Суматру.

Жарко, ах жарко! И Вы бы, друг мой Николай Аполлонович⁴, не сказали, что не жарко, а только хорошо. Хорошо для ананасов да черепаха (которых мы тоже накупили) да еще для Фадеева. Я изнемогаю, сию с поникшей головой, во рту сохнет, аппетита нет, а он войдет ко мне в каюту и только приговаривает: «Господи! Как тепло, хорошо!» Вчера он отличился, когда пристала шлюпка с малайцами. Он в это время доставал из-за борта воду и обливал меня. — Кто это там приехал на шлюпке? спросил я. — Должно быть опять чухны, Ваше высоко-дие, отвечал он, разумея малайцев.

⁴Сингапур 26. Утро. Какое оживленное утро! Мы кругом в островах в зелени — около нас целая флотилия индейских и китайских лодок, крик, шум на всех языках. Ко мне в дверь (моя каюта наверху, подле капитанской) лмятся толпой индейцы, портные, прачки, маклера, все суют рекомендации от разных судов. Вот и Иван Иванович (Бутаков, который едет курьером в П.) стучится в дверь. — Чего — мол Вам? Да вот, говорит, попробуйте фрукт мангустан, — и дал какое-то яблочко: в нем кисло-сладкое беловатое ядро, окруженное красным мясом — едят белое ядро — отлично. Пишу, а самого так и тянет туда, на палубу; индейцы горланят, продают ракозины, фрукты; вижу, матросы охалками носят ананасы — и какие — с дыню, не только желтоватые, но красные, по полторы копейки сереб. штука, дюжина шиллинг, сотня полтора целковых. Мне Гошкевич⁵ мимоходом бросил четыре ананаса в каюту, и они заняли целую полку, вот режу один — сок течет. Позвольте попотчевать Вас: вот этот Вам, Е. П.; это — Вам, Ю-ка, Вам, маленькая старушка, недостает⁶ — эй, Фадеев, принеси дюжину... Вон все матросы вооружены ножами и ананасом. А жарко, жарче вчерашнего. Нельзя поверить, сколько градусов, термометр сейчас лопнул от пушечных выстрелов, которыми, по обыкновению, салютовали здешнему флагу. Но у нас случилось несчастье: одному, заряжавшему пушку матросу оторвало обе руки совсем — делают операцию — слышен стон... Эпизод не хорош, но что делать? Этот трагический случай как-то дополняет оживленную картину утра и этой новой для нас суматохи. Сколько хочется закупить всякой всячины, но, к сожалению, некуда деть. Возьму, что можно: беда, если придется перемещать-ся на другое судно.

Вы, Аполлон⁷, как-то говорили мне, чтобы я не забыл сказать Вам о сильной тропической буре и о моих к ней отношениях. С нами случилось то, о чем вы говорили, — но что сказать? Почти нечего. Во 1-х, бури нет, а есть свежие и крепкие ветра, штормы и ураганы. Нас прихватил шторм у М. Д. Н., лишь только мы отъехали от него верст 200. Этот шторм окончательно и доказал, что фрегат наш более, чем плох. Я сидел в кают-компании, когда буря началась. Когда усилилась, сначала взяли рифы, т. е. уменьшили паруса, но ветер крепчал, их убрали совсем, кроме самых необходимых. Началась течь, как в решете, все ничего, в общей каюте было еще сухо, но фрегат начал черпать бортами, да еще дождь проливной пошел, и вдруг хлынули целые потоки к нам вниз. Меня адмирал звал не раз, через посланного, вверх — полюбоваться картиной, где блеск луны и молнии спорил друг с другом, но как на палубе на четверть ходила вода, то я и не пошел, думая удержатъ свою сухую позицию до конца бури. А когда вода хлынула в десять каскадов и к нам, мы оттуда поневоле бросились все вверх, по трапам лились тоже потоки, а я в башмаках и летнем костюме. Вверху я насмотрелся и молнии и луны, наслушался и грома и ветра, но через пять минут я весь был мокрехонек, добрался до своей каюты, переменял белье, занул, и не знаю до сих пор, как и когда кончился шторм. Хорошая сторона

морских неприятностей отличается своею странностью: через час не остается и следа от претерпенного беспокойства, страха, мокроты и морской болезни, у кого она бывает. Я до сих пор продолжаю не понимать, что это за болезнь. Вообще я, слава богу, так во многом свыкся с морем, что теперь некоторых своих беспокойств, тревог, страхов и неудобств даже не понимаю и удивляюсь, как могло меня тревожить вначале то или другое. Бывало от шума маневров, стука и пальбы я не мог уснуть, а теперь ни за что не проснусь, разве сбросит совсем с постели; прежде бывало беспрестанно в голове присутствует сомнение, не случилось бы того, другого, а теперь не верится никак, чтобы могло случиться — словом, как прежде хотелось бы отсюда, так теперь ни за что не воротился бы, хотя в некоторых отношениях мне бывает не хорошо. Но ведь куда не спрячься, везде достигнет своя доля нехорошего, и я, похандрив, заключаю частенько, что мне очень хорошо. Не хорошо мне особенно потому, что я до сих пор не веду моих записок, а боже мой! сколько интересного видишь и сколько способности чувствуешь в себе записать это! И между тем часто недели проходят в бездействии: от качки невозможно физически писать, все рвется из рук, а чуть выдается свободная минута, надо приниматься за казенный журнал. И в том много отстал. Это досаднее всяких бурь. А прогос о бурях, еще слово о них: 21-го мая, когда уж мы вышли из Зондского пролива, меня разбудил крик: Смерч — пушку зарядить ядром! Я выбежал — смотрю: в одном месте море кипит столбом, как будто пароход идет, а из тучи к нему тянется труба, в роде насоса, и тянет воду. Стрелять не понадобилось, смерч лопнул сам, не дошедши до нас. Красиво, но слабо, я ожидал больше. Вот разве дальше, в Китайском море потешат нас тайфуны, т. е. тифоны, так те любят поломать стены, а иногда и мачты. Вообще вторая часть нашего плаванья знаменовалась непрерывными штителями, ежедневными прозами и шквалами — то-то бы страшновато было другу моему, Е. П., а нам, старым морякам, некогда было и замечать этого. Я раз в прозу занялся — чем бы вы думаете? Перекладывал тихохонько из деревянного ящика в жестяной — тысячу спичек: тихохонько потому, что спички — великий грех на корабле. Не сказывайте Ивану Ивановичу (Бутакову), если увидите его у Языкова или если он сам привезет Вам письма: он второе лицо на корабле, друг и товарищ командира Унковского. По возвращении, пожалуй, отнимет спички, а мне — мат без них. Он лихой моряк и добрый малый.

Ну довольно об всем: простите, что так долго занял Вас собою. Погодите, напишу разве еще из Гон-Конга, а там уйдем в такие места, где и почты нет. Странное дело, меня никогда не интересовало слишком тридцатое государство, куда мы стремимся: оно не дико, но и не цивилизованно и я мало занимался им, а теперь лишь думаю, что придется увидеть его, так сердце замирает.

Здоровы ли Вы, что делаете? Сходите ли в известные часы и вспоминаете ли об отсутствующем приятеле? Он помнит Вас — будьте в том уверены, если только память его на что-нибудь годится Вам, и $\frac{3}{4}$ радости в возвращении полагает в надежде увидеть Вас всех здоровыми, вместе в том же укромном многолюбимом уголке, в котором он так ласково был принят половину своей жизни. Вы что делаете, молодые⁸, в обоюдном смысле? Не мудрено, я думаю, угадать, что — Вы что — Ю., как обнял бы Вас не смотря на Ал. Павл. *. Ах, как я растолстел — куда ему. Должно быть от морских бедствий — не знаю, только у меня растет другое брюхо рядом с прежним, повыше. Это бы ничего, уж видно горькая участь такая, но что досадно, так это то, что каждый из моих спутников, встретясь со мной утром, непременно потрогает пальцем это мое второе брюхо, как будто не доверяя,

* Я отсюда даже с Малакского полуострова чую, Ю — ка, что у Вас опять — другой или который бишь?

в самом ли деле это там или накидка. Ты, Бурька, что? А Вы, милый мой Льховский... что за странность, что во всяком письме приходится вам стоять рядом с Бурькой? Поди, чай, вы понемногу складываетесь — в следующем письме разлучитесь. Что бы Вам сказать особенное о себе или о путешествии: да вот что: часть известных Вам зверских наклонностей, несмотря на всю гуманность, сопутствует мне и вокруг света. На мысе Д. Н., например, я прибил на Львиной Горе готтентота — зачем надул. А на днях велел высечь Фадеева. Последнее обстоятельство замечательно тем, что я с самого начала похода проповедывал о гуманности и жарко спорил с капитаном, который меньше 150 линьков виновным не дает, говоря, что меньше ему стыдно давать, не по званию. А вдруг и сам высек, но, будучи маленького звания здесь, выпросил я, чтобы ему дали только двадцать. Худо служит, знаете ли, отчего? Я не бью его, не кричу, а прошу и плачу жалованье. Невероятно, а правда. Скажите: «о, род людской, достойный и т. д.»

До свиданья. Пишите или через Азиатский Департамент, или в Гон-Конг: у Языкова есть адрес, как хотите, только пишите. Весь и всюду Ваш

Гон[чаров]

Мы, кажется, простоим здесь неделю и потом в Гон-Конг. Кланяйтесь всем, но писем пожалуйста другим не читайте, а берегите до меня, может быть понадобятся мне для записок. Не показывайте потому, что пишу их решительно для Вас, небрежно.

Кланяйтесь Бороздным, Княжне, Поздеевой, Яновскому, Кошкаревым, Дудышкину etc, etc. К Влад. Григ. могу написать из Гон-Конга. Марья Фед., что сегодня за обедом? ⁹ Не ботвинья ли? Ах, если бы. У нас щи и салат из ананаса. Солику, Павлу Степ.

Что Вы, Капитан: приучаетесь ли говорить правду или все еще того... Во всяком случае здравствуйте, любезнейший друг.

¹ Ю — ка, Ю. — Юния Дмитриевна Ефремова.

² «Капитанская Дочка» Пушкина: готовясь к обороне против Пугачева, Иван Игнатьевич «вытаскивал из пушки тряпочки, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода, записанный в нее ребятишками».

³ Евгения Петровна — Майкова.

⁴ Николай Аполлонович — Майков.

⁵ Гошкевич, О. А. — драгоман экспедиции.

⁶ Е. П. — Евг. Петр. Майкова; Ю. — Ю. Д. Ефремова; маленькая старушка — Екат. Павл. Майкова, жена Влад. Ник. Майкова.

⁷ Аполлон — Николаевич Майков.

⁸ Молодые — Владимир Николаевич и Екатерина Павловна Майковы.

⁹ Бороздным — семья Ив. Петр. Бороздны (1804—1858), поэта, друга семьи Майковых; Княжна и Поздеева — остались нам неизвестны; Кошкаревым; Яновский, С. Д. см. прим. к п. № 3; Дудышкин, С. С.; Влад. Григ. — Бенедиктов; Мария Федоровна — экономка в доме Майковых; см. прим. к п. № 10.

13. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

26 мая/10 июня 1853, Сингапур

Вот куда занесло меня, любезнейший друг Мих. Алек. — Но прочтите прежде другое письмо на Ваше имя; я запечатал его давно и вскрывать не хочется. Я думал, что не успею написать ни к кому, но времени достало, потому что в Батавии Бутакова мы не высадили, а должны были нарочно ехать сюда и вот четвертый день стоим здесь в ожидании Ост-Индского парохода, на котором Бутаков отправится с депешами в Россию. Прилагаемые письма потрудитесь поакуратнее отдать по адресу; тут два: одно к Майковым, а другое к Кореневу.

Что Вам сказать про Сингапур? Кто побывает здесь, тому, кажется,

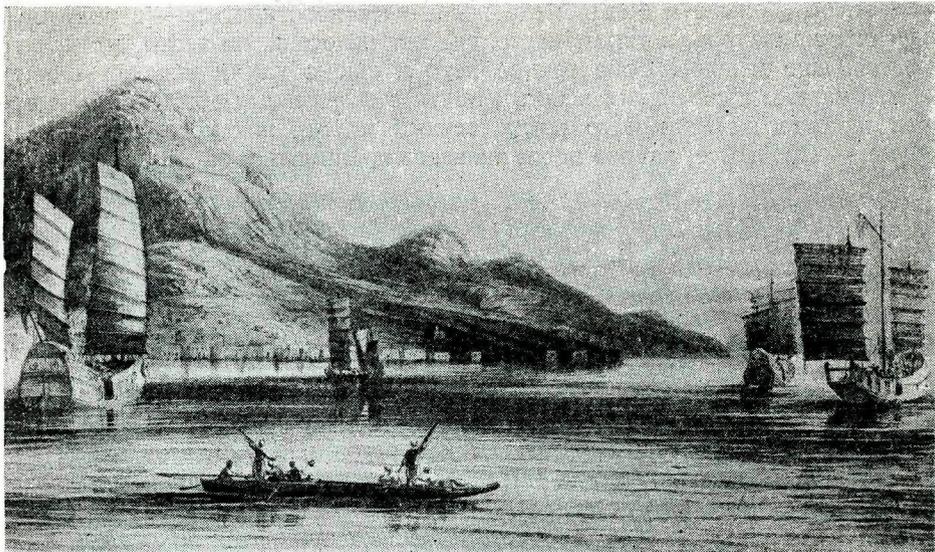
незачем ездить ни в Китай, ни на Индийский полуостров. Это образчик и того, и другого. Здесь до 60 т. жителей; из них европейцев всего 400 человек*, индейцев и малайцев тысяч 20, в этом же числе и персы, и армяне, а остальные 40 тысяч — китайцы. Колония понемногу падает, на ее счет возвысилась в последнее время другая — в Гон-Конге. Два больших рынка не могут ужиться в таком близком соседстве.

Остров Сингапур верст 50 в длину, да около 20 в ширину, весь в непроходимых лесах и болотах, чего-чего тут нет, всего более тигров, которые съедают круглым счетом по человеку в день, выключая другого скота. Фруктов неимоверное множество, и между прочим бездна таких, за которые не знаешь, как и приняться. Роскошнейший из плодов, нет сомнения, мангу: вкус сливочного мороженого соединяется в нем с легкой кислотой, и все это приправлено каплей какого-то наркотического вещества. Есть его нельзя, т. е. жевать нечего, надо сосать. Ананасы ни по чем — и какие: я пробовал захватить в руки четыре штуки и не мог. Матросы таскают их вязанками, как дрова, но вот уже второй день их никто не ест — надоели. Сотня их продается по 1 р. 35 сер. на наши деньги. Третьего дня я с раннего утра забрался на берег и с двумя, тремя товарищами исходил и изъездил город и окрестности. Ново, оригинально, поразительно. Это множество столкнувшихся здесь на маленьком клочке азиатских племен, не похожие на наши костюмы, обычаи, деятельность, наконец, великолепнейшие кокосовые, мускатные леса, исполинские банианы, ползучие лианы, цветы — не отвел бы глаз, но божье мой! Какое свинство рядом с этой роскошью. По китайским кварталам нет возможности пройти и проехать. Со мной однажды сделалась та болезнь на берегу, с которой я не знаком на море. Я был на китайской джонке: никакой художник не придумал бы удачнее карикатуры на все то, что называется кораблем; был в китайских лавках, потом в заведениях, где курят опиум — и везде одно и то же, особенно в лавках: запах поту, ананасов, чесноку, мускуса и разной дряни, развешанной на солнце, которую они едят, — все это составляет убийственный букет. Китайцы все делают на улице, как и везде на Востоке, у лавок: бреют головы, чешут кося, моются, едят, спят и пр. и.л. Все это заставляет умолкнуть самое живое любопытство. Смесь этих запахов помешала мне зайти в китайский театр.

Индейцы — другое дело: в них не видать грязи, хотя здесь все ходят голые, обвязывая только около поясницы род юбки. Впрочем индейцы богаче ходят все в белом кисейном костюме и одни (магометане) в чалмах, другие в каких-то шапочках. У всех серьги в ушах, у многих в носу, на лбу какие-то блестящие, некоторые красят лоб и прудь белой краской и почти все ногти красной. Кольца и на руках и на ногах. В походке и движениях индейцев много гордой сладострастной и ленивой праччи. Пройдись у нас кто-нибудь так — расхохочешься, а к ним идет. Только жарко и душно: я вчера заболел лихорадкой или чем-то в роде этого. Воздух так растворен разными наркотическими запахами от растений, что язвит непривычное тело, несмотря на сквозные галереи, полумрак в домах и исполинские вееры в комнатах. Съедешь на один день на берег, а воротиться, точно измученный тяжелой работой. Посмотрите же, что делает индеец: здесь ездят в каретках, в которые садятся по-двое и могут сесть даже четверо, на малорослых лошадях, меньше Вятских; Индеец посадит вас в такую карету, а сам, взяв за узду лошадь, бежит рядом с ней, да ведь как бежит! Ни один извозчик не повезет вас так. Он скачет так прациозно — за доллар целый день. Сначала мне было неловко, стыдно ездить так, но через полчаса я привык и они тоже: на лице ни малейшей усталости — стройны, гибки, бегут, улыбаясь и обнаруживая ряд удивительных зубов.

Я бы был совершенно доволен своим путешествием, еслиб мог распола-

* Теперь с нами 800, если только мы в самом деле европейцы.



ГОНКОНГ

Современная гравюра

гать временем по своему произволу. Но в качку работать нельзя, в зной тоже, не знаешь, куда уйти: внизу душно, сверху печет, и ночь едва-едва прохлаждает воздух; когда же выдается свободная минута, принимаешься за казенное дело, и так отстал.

Был в китайских лавках, хотел купить кое-каких вещиц — более для Вас, милые барыни — но не советуют, не довезешь. Все эти японские и китайские изделия: коробочки, веера и т. п. до того хрупки и нежны, что едва позволяют дотрагиваться до себя, а на море и железо, и медь, и кожа — не говоря уже о платье и белье, все как будто горит огнем — плесневеет и зеленеет.

Дня через три положено итти отсюда в Гон-Конг, а там в китайские порты, в Шанг-Хай и другие. Оттуда на маленькие острова Бонин-Сима, к югу от Японии, а потом в тридцатое государство. Но вот мы слышим, что того и гляди последует разрыв с Англией за Турцию: нам так свободно разгуливать нельзя, бог ведает, куда мы тогда денемся.

Дайте руку, Элликониде Александровна: здоровы ли Вы, где Вы? Чувствуете ли Вы, что я ежедневно благодарю Вас за массивный графин, которыми Вы снабдили меня? В нем теперь постоянно наливаются кокосовое молоко. Как море ни портит вещи, но я в благодарность за графин, ермолку и прочие знаки Вашей внимательности, обязуюсь привезти заморский гостинец, лишь бы только не попасться нам в плен к японцам или англичанам.

До свидания же — когда? Ах поскорее бы. Путешествие утомило меня, особенно жара. Поклонитесь, Екатерина Александровна, нашим общим друзьям, поговорите обо мне с детьми; я думаю, и Николенька забыл меня.

Будьте здоровы и не забудьте много Вас любящего

И. Го[нчарова]

После обеда. Сейчас опять с берега: осматривал китайские и индейские кумирни, был за городом, видел китайскую процессию в роде поминок по мертвым. Когда Вам случится видеть индейские пагоды и китайские храмы на театрах, то представьте, что действительность далеко выше: резная работа, позолота, постройка — изумительны странностью восточной фантазии и исполнением тоже, делающим честь терпению китайцев. Но я

разнемогаюсь больше и больше: где изловчился простудиться — в полутора градусах от экватора, в таком месте, где нет ни осени, ни весны, зимы, разумеется, еще меньше. Одно вечное лето и еще с каким снисхождением: большей частью с сереным небом и почти с ежедневным дождем. Но за то почти никогда ни малейшего ветра, вечный штиль, никакого движения в воздухе. — Прощайте; каково после ананасов приниматься за *Sel de guindre*?

14. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

7 июля/20 июля, Гон-Конг

Милые мои Михайло Александрович и Екатерина Александровна!

Вы, надеюсь, получили мои два письма с Бутаковым? Вот Вам еще: это может быть последний голос, после которого замолчу надолго.

Мы более недели стоим у китайских берегов и любуемся видом китайских джонков, полунагих бритых китайцев и наслаждаемся запахом кокосового масла и сандалового дерева.

Наши поехали в Кантон¹, я — нет: помешала проклятая лихорадка, приобретенная мной в Сингапуре. Вообще я несчастнейший человек в жарком климате. Лишь только вошли в Зондский пролив, я потерял аппетит, желудок ослабел, пищеварение испортилось, и по телу пошла сыпь, так что я завтра принимаюсь за деконт. Все это помешало мне вместе с нашими отправиться в Небесную Империю, хотя мне следовало ехать, кроме любопытства, и по обязанности. Но как нынешней зимой предполагается пойти во все пять открытые для европейцев китайские порта, то я и не печалюсь нынешней своей неудачей. Даже если б пришлось совсем не быть там, то не заплачу. Ведь я принадлежу к числу тех путешественников, для которых путешествие — некоторая пытка. Чуть надо изменить привычку, обычный ход дня, увидеть новое лицо, принудить себя поговорить и т. п., а особенно лезть самому в чемодан за бельем и за платьем, так хоть и не надо ничего.

Вот хоть бы здесь в Гон-Конге я уж другой день не съезжаю на берег, потому что многие из здешних жителей перебивали на фрегате, перезнакомились с нами и начали звать к себе. После того нельзя ступить шагу на берегу, все знакомые — тоска! Раз немец-купец тащил к себе обедать, там английские офицеры повели в свою мессу (офицерские помещения в казармах), а то так одолели попы: доминиканцы, францисканцы, французы, португальцы, все миссионеры².

Здесь всего от 500 до 600 европейцев и 30 000 китайцев. Весь Гон-Конг не что иное, как скала. Город расположен по берегу, но, распространяясь все дальше и дальше, просится в гору. Какие дома у англичан: дворцы! А что за клуб! Рейд очень оживлен: китайские джонки, одна другой уродливее и страннее, и перевозные ялики, управляемые женщинами, снуют взад и вперед по реке. Несмотря на то много места и на берегу, целые семейства китайцев живут на лодках. Все это движется около нас, по вечерам и европейцы ездят вокруг фрегата послушать нашей музыки³.

Но я от европейцев удаляюсь, особенно англичан, которых одних почти только и видел с самого отъезда. Я люблю шататься по китайскому городу, который здесь почище и получше, нежели в Сингапуре. Я с большим любопытством смотрю на сметливые и лукавые китайские физиономии, гляжу, что они делают, что и как едят и пьют, а иногда в лавке у них напьюсь и чайку. Но все эти прогулки обходятся недешево: как ни пойдешь, то и накупишь долларов на десять каких-нибудь безделок, то резной веер из кости или сандала, то картинок на рисовой бумаге, ящик какой-нибудь и т. п. А пожа-

луй придется бросить все, да еще года в два путешествия все отсыреет и пропадет на море.

Скажите пожалуйста Бутакову, Михайло Александрович, что по выходе из Сингапура нас задержали штили и мы миль 350 плыли дней десять, а остальные тысячу миль, как только задул попутный муссон, сделали в четверо суток. Еще расспросите его пожалуйста и напишите мне в Гон-Конг по тому адресу, который я Вам дал, сколько ему стоил весь путь от Сингапура до Петербурга. Очень немудрено, что по возвращении из Японии сюда кого-нибудь из наших опять пошлют с донесением, так необходимо знать, во что обойдется дорога. Если мое здоровье окажется решительно негодным для жаркого климата, то может быть и я попрошусь тогда домой.

Что за женщины здесь, Екатерина Александровна: не причесывайтесь, пожалуйста, никогда à la chinoise — некрасиво. Женщины ходят в широких шароварах и длинной широкой же кофте. А как ходят: некоторых двое ведут за руки, а те, которые идут одни, переступают так, как будто на ногах у них кроме мозолей ничего нет: так малы и уродливы ноги. Нет никакой надежды влюбиться здесь. Вот что скажут наши, воротясь из Кантона? — Воров здесь несть числа, несмотря на то, что полисмены, которые в Англии своею палочкой имеют только право дотрагиваться до нарушителя порядка, бьют ею здесь китайцев без милосердия, по голым ногам.

Прощайте, поцелуйте за меня детей. Коле скажите, что меня еще не съели ни африканские, ни азиатские люди. Вот что будет между дикими. Дайте ручку, Элликонида Александровна, и пожелайте мне здоровья да скорого возвращения домой, хоть я не знаю, где у меня это д о м о й? Может быть отчасти и на Стеклянном Заводе: только не забыли ли меня там?

Кланяйтесь всем вообще и каждому в особенности. Майковым я писал из Сингапура, теперь пока не напишу, так и скажите. А если кому напишу сегодня или завтра, так Вы передайте письмо.

¹ «Наши поехали в Кантон». Кроме официальной миссии в Японию Путятину было поручено позондировать почву в Китае насчет торговли с Россией через только-что открытые для европейцев четыре китайских порта. Это поручение, однако, не привело к положительным результатам, так как китайцы, ссылаясь на торговлю с Россией по сухопутной границе, не соглашались вести ее еще и морским путем, а Путятин имел предписание ни в коем случае не раздражать китайское правительство.

² «Одолели попы». Богомольный до ханжества Путятин чрезвычайно интересовался постановкой миссионерского дела на Дальнем Востоке и уделял ему не мало внимания. Вот почему в каждом порту он завязывал самые оживленные сношения с миссионерами, и его свите приходилось принимать, посещать и занимать всяких епископов, монахов и пр.

³ «Наша музыка» — игра на пианино Миши Лазарева, о которой — не без иронии по адресу русского военного судна — упоминалось даже в местных английских газетах.

15. Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ ¹

7 июля/20 июля, Гон-Конг

Здравствуйте, вечно юный и прекрасный друг мой
Юния Дмитриевна!

Я простился письмом из Сингапура с Майковыми и Языковыми перед отъездом в дальние и неведомые страны: не могу уехать, не простясь с Вами надолго, а кто знает, может быть, и навсегда. Но полно вдаваться в чувствительность; скажите лучше, вспоминаете ли Вы иногда обо мне, видите ли мысленно меня, то бросаемого качкой из угла в угол каюты, то изнемогающего от лучей здешнего язвительного солнца, или гуляющего среди пальм в потом лениво отдыхающего на мраморной веранде Гон-Конгского клуба, или Сингапурской отели, где по вечерам над головами бегают ящерицы, а

около балкона и по балкону летают мыши и прочая т. п. дрянь? Может ли Ваше северное воображение не [sic!] представить себе все эти картины, сцены, китайские, индейские, малайские, которые я вижу не во сне и не воображением.

Что касается до меня, я часто слежу за Вами, невидимо являюсь среди Вас, то с апатией, то с какой-нибудь резкой трескучей шуткой или просто раздражительной бранью, со всем тем, что так великодушно сносили и прощали мне Вы все, мои друзья, в уважение, бог знает, каких заслуг. Я теперь в странном моральном состоянии, не знаю, что пожелать: продолжать путешествие, — но порыв мой, старая мечта, — удовлетворились; любознательности у меня нет; я никогда не хотел знать, я хотел только видеть и проверить картины своего воображения, кое-что стереть, кое-что прибавить; желать вернуться — зачем? Опять к прежнему, и дай бог, если еще к прежнему, а если того не найдешь. Это прошло, исчезло, то изменилось. Так и не знаешь, что с собой делать. В ожидании чего-нибудь лучшего, пока пью декокты и плачу дань климату лихорадкой.

Через три дня мы уходим отсюда, но из тропиков долго еще не выберемся. Может быть в августе придем и к цели своего путешествия. Но все это еще не ведет к обратному пути: ранее двух лет не видать России тем из нас, кому суждено ее видеть.

Я пока шляюсь все по Китайскому городу да наблюдаю китайцев, чтоб было что порассказать о них, если вернусь. Между прочим покупаю разных безделушек, то веер, то резной портфель для визитных карточек и т. п. дрянь. Есть хорошенькие ящики для чаю и рукоделья, но крупных вещей некуда брать, особенно таскать еще с собой два года.

Что Александр Павлович, что Феня? Обнимите за меня обоих. Алекс. Павл., я полагаю, не удастся. — Хотя здешние китайки и не хороши, но Вы здесь не были бы красавицей и между ними: хоть велики и скоро ходите: они вовсе не ходят.

Ну, до свиданья, друг мой.

Весь ваш И. Г[ончаров]

Майковым поклон — писать не буду: недавно писал, и то, я думаю, они бранят меня.

¹ Опубликовано впервые Б. Л. Модзалевским в «Невском Альманахе», вып. II. П. 1917, стр. 10—11.

16. И. И. ЛЬХОВСКОМУ

Двадцать которое-то июля 1853
острова Бонин-Сима, порт Ллойда
27° с. ш. 142° в. д.

Здравствуйте, милый друг Лховский!

Сегодня мы только ввалились, сказал бы я, если бы странствовал по суку, но служба во флоте, должен сказать — бросили якорь в вышеуказанном порте. Вот дней пять, как я лежу больной: у меня нарыв, отчасти с рожей на ноге, все от жаров. Сам я здоров, но нога не дает ступить шагу, и я лежу. От этого я довольно равнодушно вслушиваюсь в суматоху, какую обыкновенно сопровождается вход в порт и бросанье якоря; все в это время наверху, я один только не мог видеть хотя необитаемого, незанимательного, но все-таки нового берега. Зато как я был награжден за свою болезнь, скуку и за томительный переход от Гон-Конга сюда; через час после нашего прихода мне вдруг привезли до десятка писем, от всех Вас, от Яз., Кор.¹ и еще кое от кого. Добрый Михаил Парфенович² (которого да благословит Аллах до десятого колена), запечатал их в один пакет, отчего

все письма более или менее слиплись, как слипаются в моем сердце самые авторы этих писем.

Письма привезены одним из судов, составляющих нашу эскадру (я служу теперь в эскадре). Но что Вам до всего этого за дело? Не стану Вам говорить ничего о нашем плавании, о новых, виденных мною местах, ни об урагане или тайфуне (тифоне), который мы испытали при выходе из Китайского моря в Тихий океан, — все это отчасти прочтете Вы в общем письме к Майковым. А теперь обращусь скорее к Вашему письму, которое так мило, так тепло и так напоминает мне Вас, что оно разбудило мою дремоту, лень, хандру, и я спешу отвечать Вам сегодня же, хотя Вы может быть получите это письмо разве через многие месяцы, если только получите. Мне хочется отвечать поскорее и потому, что спустя некоторое время я, быть может, охладею к некоторым из Ваших замечаний, которые в эту минуту шевелят меня. Начну с начала. Мне очень жаль, что Вы так решительно отказались говорить о себе, сообщить мне кое-что из того заветного мира, который так тщательно закрывали почти от всех, а вот теперь и от меня. Я говорю про ваше сердце: до сих пор Вы держали дверь туда назаперти, вдруг отперли на минуту, да как-будто и раскаялись. Конечно этому виноват я сам. Вас пугает разврат или холод моего анализа, но Вы предполагаете его во мне иногда больше, нежели его есть; есть вещи, до того нежные, чистые и вместе искренние, что я умилился перед ними, как пушкинский дьявол, увидевший у райского порога ангела. Или быть может я неуклюже и грубо озадачил и оскорбил вашу стыдливую поэтическую печаль поспешным желанием утолить ее хоть немного. Зная тонкость вашего анализа, я хотел только это, вышибенное [sic!] внезапным ударом из рук ваших оружие поднять и дать Вам опять в руки, надеясь, что Вы, владея им, мастерски справитесь посредством его со всяким горем. Но я, надеясь на ваш ум, позабыл в Вас юношу (знаю, что слово смешно, да право не умею заменить). Я думал, что Вы разложите ваше горе также тонко, как все, что попадалось Вам в руки, что ум ваш и прошедшее будут Вам руководителями, но я забыл, что у Вас нет прошедшего и что в этом отношении я ставлю себя на Ваше место. Грубая ошибка! Потом — отчего Вы так ухватились за слово — вы с ш е е? Суля Вам высшее впереди, я никак не думал потешить Вас ни большим жалованьем, ни чином, ни даже каким-нибудь не столько материальным благом. Нет, я не хотел сворачивать Вас с того же пути, т. е. пути любви и наслаждений. Я там Вам и сулил это высшее (ужели я так глупо высказался) или это лучшее? Тот же плод, но созрелый и прекрасный. Как Вы ни будьте тонки, умны и образованы со всех сторон, но в ранней молодости, какова Ваша, Вы никогда не в состоянии будете дать любви, или вернее, любовь не в силах явиться к вам со всею глубиною своей, со всею определенной строгостью и достоинством своих качеств, с их разнообразием, словом со своею всеобъемлемостью, за недостатком многих начал к ее восприятию, чтоб заманить к себе эти качества, надо немножко побольше жизни, побольше опытности*. Положим, даже я уверен, что ваша любовь и была любовь, которую я разумею, но я также уверен, что низведенная с поэтической точки воззрения любовника в будничную жизнь мужа и хозяина, она вскоре отодвинулась бы на второй план и уступила бы место — чему? А тому, что должно предшествовать ей — опыту. Хотелось бы испытать других обольщений (смотря у кого-что): одному опьялости самолюбия, голоса славы,

* Иногда я с удовольствием, а иногда с каким-то страхом прислушивался, как тонко, а вместе с тем как мучительно Вы бились посредством одного анализа разложить какой-нибудь случай, для которого требовалось не более трехдневного опыта, т. е. просто надо было пережить его, а Вы тратили бездну гипотез, даже целых теорий, одна другой остроумней, и ошибались иногда.

другому и чина и т. п. Положим, после придешь к сознанию, что то все хуже, да часто трудно возвращаться к тому единственному чистому источнику увядшего и неоцененного счастья. Не лучше ли же оставить все то позади и знать, встретя высшее, что лучше, глубже впереди нет ничего. Вот то разумное и высшее благо, которое я осмелился сулить Вам, зная ваш тонкий ум и давно чуя глубоко-симпатичное сердце, которое может быть ценю больше еще, нежели ум. Сердце ваше теперь облилось кровью, но ни на волос не лишилось жизненной силы и способности вновь сосредоточить в себе всю роскошь тех ощущений, на которых создавалось здание вашего потерянного счастья. Вы спрашиваете меня, а знал ли я сам это высшее? Нету-ти. Так как же мол... и т. д. Как же могу сулить его другому? Во 1-х) я сулю не другому, а Вам, во 2-х) Вам потому, что сознаю в Вас множество преимуществ перед собою, в 3-х) не знал этого лучшего, но чувствовал в себе способность к нему, теперь уже утраченную*. Преимуществ ваши состоят между прочим и в том, что Вы сознательно воспитывались и сохранили в себе, по прекрасной своей аристократической натуре или по обстоятельствам, первоначальную чистоту, этот аромат души и сердца, а я, если бы Вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, пубность понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу вечной нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтобы выкарабкаться и на ту стезю, на которой Вы видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все vzdыхающего по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, как гоняется за человеком его тень. Я должен был с невероятными трудами создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие: у меня не было даже естественных материалов, из которых мог бы построить что-нибудь, так они испорчены были недостатком раннего, заботливого воспитания. Вот еще: вы говорите, что я не так отжил, как кажется, что роскошная природа, океаны, все чудеса, которые я вижу, не воскресили бы меня, а я, слышь, обновляюсь, глядя на Мадеру и т. п. Говоря об этом способе воскресения, вы тут же и изрекли мне смертный приговор. Представьте, что это меня не занимает и не обновляет. Мадера на минуту разбудила меня: мы пробыли на ней всего часов 20 и пришли туда прямо из незанимательного Портсмута, после постоянного холода, жестокой, непрерывной в течение семи дней бури, и вдруг там тепло, тихо, южно, да еще и хорошо пахнет — и это было первое место, непохожее на все то, что я прежде видел и знал. Я, точно, немного ожил, но вот уже с тех пор до сей минуты и не оживал больше, а между тем я видел и мыс Доброй Надежды, и Яву, Сингапур, уголок Китая Гон-Конг, но видел холодно**. Я совсем не хочу оправдаться в минутном проявлении жизни, напротив, я с отчаянием заглядываю в будущее и вижу, что странствовать мне еще долго, если не умру на дороге, а мне уже о сию пору скучно. Увидав, например, крутые живописные скалы на Мадере, потом в Африке, побывав в пальмовых рощах на о. Зеленого Мыса и поглядыв с некоторым вниманием и любопытством, я потом уже холодно смотрел на все утесы и на все пальмовые леса в других местах, потому что соскучился и одряхлел, а внешняя природа может двигать только здоровый, живой дух. Если же в письме моем и выразилось будто живое

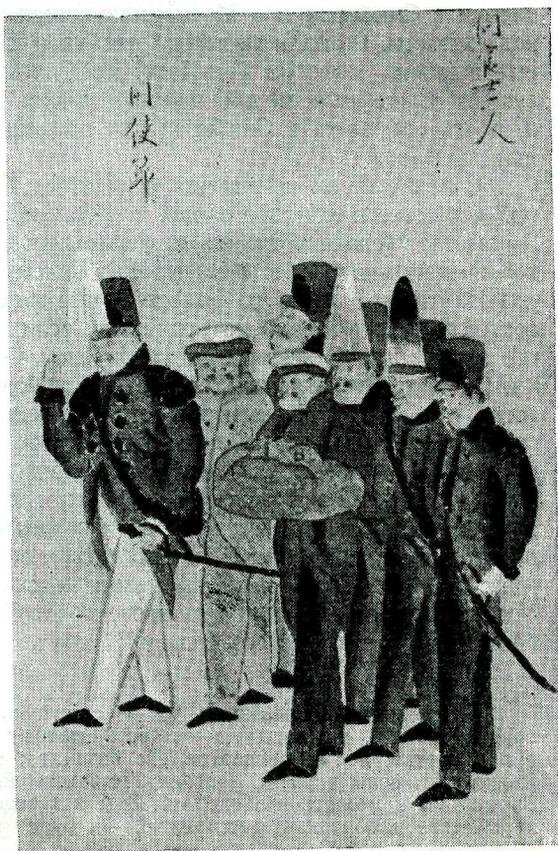
* Или если не знал, то сильно чуял эту способность в других.

** Это между прочим и от того, что я болен. Чувствую, что меня ничто и никогда не расшевелит: геморрой ли это, печень ли, не знаю, знаю только, что по целым неделям мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать свободно, ни словом — жить. Я не сомневаюсь, что во мне гнездится и физический недуг, который много прибавляет сонливости, лени и даже иногда боли.

впечатление, так это потому, что я, при некоторой настроенности, вследствие весьма известного Вам воззрения, забочусь более о зрителях и слушателях, нежели о себе: как же я постоянно буду звучать им в уши на тот тон, который раздается в моей душе. При том я писал второпях, как почти все свои письма, и желал, разумеется, высказать, как можно больше, спешил и высказывал неполно, не отчетливо одни резкие черты — вот отчего письма мои и нелепы. О себе все говорить не позволено, а другое не так интересует меня (т. е. что вижу), чтобы могло выйти интересно в письме. Впрочем я уже писал к Майковым из Сингапура о том, от чего письма мои выходят и глупы, и неполны: я все надеюсь вести записки и даже написал главу о плавании от Англии до Мадеры и о Сингапуре, а писать письма также подробно и отчетливо, как записки, некогда, одно вредит другому. Служба и здесь занимает почти все мое время, а чего не отнимает она, отнимают жары, качка. К Вам я писал из Гон-Конга через Языкова. Там же и к Юнии Дмитриевне — особо, а к Майковым из Сингапура. Дошли ли мои письма? До свидания. Не заключаю письма, которое верно пролежит в моем бюро несколько месяцев. На Бонин-Сима почты нет: там живет человек пятьдесят беглых матросов; в Японии, куда мы идем на-днях, тоже нет. Впрочем, если оттуда пойдет какое-нибудь судно в места, где есть почта, с ним я пошлю. Ну, вот мы касаемся наконец предела нашего плаванья --- что-то будет.

20 августа
Нагасаки, Япония

А ничего пока не было. Взяли да и приехали — пока только; хорошо, если б приехали да взяли. Впрочем с японцев взятки гладки.



«ПОСОЛЬСТВО Н. В. ПУТЯТИНА»
Второй слева — И. А. Гончаров
Современная японская гравюра

Вот они, с своими косичками, бритые, в юбках, без штанов, в мягких туфлях, приседающие, похожие на женщин до того, что до некоторой степени возбуждают фальшивую похоть к себе — а что в них толку? они так и высматривают, чтобы мы убирались, откуда приехали. Мы сидим пока на фрегате: губернатор не смеет без спросу ни пустить нас на берег, ни в столицу. Узнав, что у нас есть письмо к властям, он спросил: за чем же мы одно письмо привезли на 4 судах? О, бестыя. Что-то будет! До свиданья, милый друг*.

¹ Яз., Кор. — Языкова, М. А.; Коренева, А. П.

² М и х. Парф. — Заблоцкий.

17. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

Острова Бонин-Сима в Тихом океане
в 27° с. ш. и 142° в. д.
31 июля/11 августа 1853

Михайло Александрович и Екатерина Александровна!

Дней пять тому назад мы, после скучного и утомительного перехода из Гон-Конга, бросили здесь якорь. Я был болен от жаров и лежал в постеле, но полученные здесь от всех Вас письма так оживили меня, что я тотчас поправился. Все пишут: кроме Вас, еще Майковы, Ефремовы, Коренев, Льховский. Это настоящий подарок. Получаете ли Вы мои письма? Я даю знать о себе из всех мест, куда ни заходили; послал к Вам с мыса Доброй Надежды, из Сингапура и Гон-Конга; к некоторым письмам были приложены письма в Симбирск и в Москву: получили ли Вы их и отослали ли по принадлежности. Роздали ли также письма и Ефремовым и Льховскому, вложенные в ваши, — это из Гон-Конг. Из Сингапура я писал с Бутаковым, адресу на Ваше имя целый чемодан писем ко всем петербургским друзьям и, помнится, тоже в Симбирск. Он обещал доставить их лично в Контору¹ или на Завод.

С величайшим вниманием и участием прочитал я новости о благоприятной перемене в Конторе вашей и о благоприятной же не-перемене в службе. Вы всегда желали вступить в товарищество с П. В. Зиновьевым (которому весьма напомните обо мне глубоким поклоном) — дай бог вам всякого успеха! Найти Вас опять на заводе — мое заветное желание, и я надеюсь, что состоится, если только не утону, или если мне не распорят брюхо в Японии, где этот обычай весьма употребителен. — Спасибо Ивану Сергеевичу² и кн. Одоевскому за память: я часто и любовно вспоминаю о них. Князю скажите, что хотя я не член общества П. бедных³, но осмелился взять на себя горячо защиту этого милого для меня во многих отношениях общества — против нашего адмирала, который, не знаю кем, жестоко против него предубежден. Сколько красноречия, жарких спичей стало это мне: но он, хотя и замолчит, а все недоверчиво качает головой. Дело все в женских школах, в которых будто бы происходит много беспорядков и злоупотреблений. — Поклонитесь В. П. Боткину и скажите, что один из присланных сюда к нам с депешами курьеров, молодой Бодиско, племянник нашего посланника в Америке — большой поклонник писем об Испании

* Прочитывая письмо, я уж и совещусь послать: мне уж хочется совсем другое сказать, но посылаю как есть, потому что послезавтра захочется сказать опять третье, а там четвертое. Не взыщите; так всю жизнь было со мной. Ах, Льховский: если я умру, растолкуйте пожалуйста другим, что я был за явление. Вы только и можете это сделать. Вам я завещаю мысль свою о художнике, если не сумеете изобразить, расскажите, — и будет прекрасно.

и особенно их автора. — С этим Бодиско (который, вероятно, повезет наши письма назад) мы часто вспоминаем Василия Петровича.

Вы, милый друг Екатерина Александровна, поспешили написать мне: отчего бы такая немилость? Да еще кончили двумя неутешительными словами: «я что-то другой день нездорова». Это просто варварство! и о детях ни слова — Вы знаете, как я дружен с ними. А сами приглашаете писать побольше и почаще. Знаете что: мне что-то не верится, чтобы строка на поле вашего письма была написана рукой моего милого и своенравного друга, т. е. А. А. Этот друг обещает писать больше, только в другой раз: нельзя ли Вам способствовать, чтобы это исполнилось, да и самим написать? Пишите, не дожидаясь: никаких курьеров, а просто через Азиатский Департамент М. И. Д.; отсюда часто посылают депеши, с ними пришлют и письма. А почта ходит всего дней 40, через Англию, Ост-Индию, в Китай, куда мы будем посылать из Японии и за депешами и за провизией.

Острова Бонин-Сима, где мы теперь стоим на якоре, почти необитаемы: почти потому, что здесь живет человек 30 бывших пиратов и беглых матросов. Вчера я целый день шатался на берегу: он весь состоит из гор и скал, покрытых сплошным, местами непроходимым лесом пальм и превосходного красного дерева, да разных кустарников; жар нестерпимый: все мы терпим от него. У кого сыпь, веред, у кого желудочная лихорадка. У меня все. Кто неосторожно побудет час на солнце, у того от солнечного удара покраснеет шея, плечи и с обожженного места кожа падает кусками. С нетерпением ждем, когда выйдем из полосы жаров.

Из Гон-Конга сюда мы шли, вместо каких-нибудь семи, осьми дней, целый месяц: все противные ветры да штиты держали нас на одном месте, а 8-го и 9-го июля при выходе из Китайского моря в Тихий океан на нас грянул ураган. К счастью он задел нас концом, а то беда бы с нашим старым судном. Он изорвал в клочки три паруса и так расшатал прот-мачту, что она чуть не упала: бог знает, спаслись ли бы мы тогда! Теперь поправляемся, чтобы итти дальше: приближается осень, здесь бурно в это время.

Я был нездоров: у меня, кроме сыпи, сделалась рожа на ногу, но теперь ничего. Дела у меня много: все, разумеется, по службе; о своем и подумать некогда. Качка, жары, болезни и служба губят много времени, так что мне придется, по возвращении, рассказывать о виденном изустно à qui voudra entendre. Не кончаю письмо и не прощаюсь, оно пойдет может быть месяца через два, тогда напишу о том, что случится нового.

Кланяюсь всем.

¹ Контора — имеется в виду «Комисс. Контора М. А. Языкова и Комп.», учрежденная им в 1848 г. в Пб. В итоге этой коммерческой затеи Языков потерял большую часть своего состояния. П. В. Зиновьев остался для нас неизвестным.

² Иван Сергеевич — Тургенев.

³ Речь идет об Обществе посещения бедных, председателем которого состоял В. Ф. Одоевский и о деятельности которого ходили всякие неблагоприятные слухи, нисколько не задевавшие, впрочем, личности самого В. Ф., но касавшиеся его секретарей, казначей и дам-патронесс.

18. М. А. ЯЗЫКОВУ

Нагасаки, в Японии
20 августа/2 сентября 1853

Помните ли Вы, Михайло Александрович, один из удачнейших Ваших каламбуров? Кто-то сказал однажды, что японцы готовят кушанья на касторовом масле. Вы заметили, что оттого они и жепонцы; я помню это, помню даже, как Августа Андр.¹ улыбнулась при этом — и вот эти жепонцы теперь мелькают у меня в глазах. В самом деле жепонцы: темя бреют, а сза-

ди оставляют косичку, ходят в кофтах и юбках, без штанов и подштанников, бледные, желтоватые лица, выбритые до нельзя и гладкие, как у меня; улыбаются и приседают: что-то чрезвычайно странное — не то мужчины, не то женщины; хотя носят по две шпаги, но трусливы и раблепны, учтивы и мягки; пальцы однакож класть в рот нельзя: лукавы и злопамятны. Они встретили нас задолго до рейда. И с тех пор ежедневно посещают с распросами, пьют наливку, слушают музыку, шепчутся и низко, низко кланяются. Сначала я не спускал с них глаз, рад был, что служба обязывает меня присутствовать при свиданиях с Нагасакскими чиновниками, а потом и надоело. Одно и то же, одно и то же: вздорные, мелочные вопросы, предосторожности, подозрения, просьбы не ездить на берег и т. п. Впрочем, они очень внимательны и предусмотрительны к нам благодаря нашим 60 орудиям (на 4-х судах).

Чернь ходит голая, едва прикрываясь какой-то повязкой. Жепонцы! Все интересное впереди: вероятно нас примут в Нагасаки, а может быть и дальше. Я одно из необходимых лиц по своей должности, следовательно и мне нужно всюду ехать, куда понадобится. Но вот беда: у меня нет мушкетера: один фрак, и тот изношенный, и шпаги нет! — а у них и с одной-то шпагой ходят солдаты, а без шпаг кутцы и чернь, а высшее сословие носят по две. Мне советуют при черном фраке прицепить саблю, и может быть это надо будет сделать не шутя. — О, зачем Вас нет здесь, мой милый друг: что это была бы за комедия! Я часто вспоминаю Вас, когда эти буквально — санкиолты соберутся на совещание к нам: вот бы и Вы тут сидели, но когда они начнут сморкаться в бумажки, которых для этого носят множество, или когда поданное им варенье, пирожки и даже хлеб (к чаю) завертывают тоже в бумажки и берут домой, тогда я и рад, что нет тут ни Вас, ни одного из приятелей — один я кое-как удерживаюсь от смеха, а с кем-нибудь беда! Впрочем есть что-то такое в них, что мне и нравится. Из разных мелочных наблюдений, из того, что мне удалось схватить в их манерах, я вижу много залогов чего-то весьма умного, логичного, справедливого и тонкого. Они мягки, не дикки, не грубы и скорее других поддались бы нашему европейскому развитию, а если до сих пор не поддаются, так это только вследствие политической системы своего правительства; у самих же так и выглядывают из глаз желание познакомиться, подружиться, узнать то, понять другое. С каким любопытством они осматривают все, как внимательно вслушиваются в объяснения нового; они так и говорят глазами: мы на все готовы, да не смеем. — И в самом деле за ними строго смотрят: куда один пойдет, за ним побегут двое, трое. В этом взаимном невольном шпионстве есть что-то иезуитское, печальное.

Поклонитесь всем от меня, не забудьте Коршей, Никитенку, Павла Васильевича, Ростовских и Ваших братьев².

До свидания. Всегда и всюду

Ваш И. Гон[чаров]

¹ Августа Андреевна — Колзакова.

² Корши — семья В. Ф. Корша, Никитенко — А. В., Павел Васильевич — Анненков; Ростовские — М. А. и В. А.

19. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

Нагасаки 15/29 сентября 1853

Хотя я и недавно писал к Вам, милые друзья, но меня так тешит мысль, что строки эти дойдут до Вас, что я за неимением времени выдумываю минуты писать к вам. Вот выдумал писать в два часа ночи, несмот-

ря на то, что с рассветом начнут мыть палубу с песком и камнями, что делается над самой головой, потом станут брам-реи и брам-стенги подымать, потом артиллерийское учение делать, следовательно поспать вдоволь не дадут. Я даже не уверен, что письмо дойдет до Вас при нынешних обстоятельствах в Европе и в Китае. Вчера нам привезли известие, что Шанхай (самый важный из 5-ти открытых европейцам портов) взят инсургентами, что в России война, англичане против нас: и это должно затруднить наши сношения с Петербургом. Дай бог, чтобы слухи о войне не оправдались: это расстроило бы наши планы во многом. Мы только-что завязали деятельные сношения с японцами, а тут надо все бросить и уйти, хотя на время, а может быть и совсем, не кончив дел. Впрочем мы как-нибудь да получим Ваши письма, пишите только через Министерство Иностран. Дел., а оттуда пришлют тем или другим путем, с депешами или с курьерами. — Я писал к Вам в начале августа, и если Англичане не перехватывают в своих конторах, адресованных в Россию, депеш, то около половины ноября Вы должны получить через Михаила Парфеныча¹ кучу вот этаких же безобразных листков от меня. Тогда же писал и к Языковым, Кореневу и Льховскому. А это письмо привезет к Вам курьер М-г Бодиско*: это очень милый, любезный, умный и, как видите, mesdames, красивый молодой человек (трепещите, юные мужья, а Вы, Ю-ка, берегитесь и не измените мне в 26-й раз). Он русский по рождению и подданству, а воспитан в Америке, в Соединенных Штатах: *les extrémités se touchent***, как видите: я разумею здесь *extrémités du monde**** — только, а не другие, потому что этот милый американец спит и видит служить России из всей своей мочи². Он обещал свято передать лично мои письма: надюсь, что Вы, друг мой Евг. Петровна, посадите его на самое лучшее место в своей гостиной, т. е. между Катериной Павловной³ и Анной Ивановной⁴, сами, с обычным Вам достоинством, в чепце непременно с палевыми лентами (этот цвет Вам так к лицу) с лорнеткой садете на диван, имея подле себя с правой стороны Ю-ку⁵, с левой Бурьку⁶. Марью Александровну, M-elle Saint⁷, Наталию Степановну⁸ и Кошкарёва в тот день из дома удалить, буде они тут случатся. Тогда Вы ему на французском или английском наречии (вы ведь учились, я помню), потому что он по-русски не силен, и скажите, что Вам заблагорассудится. Он Вам расскажет про мое житье-бытье. А Вы, Николай Аполлонович, покажите ему Ваши картины, особенно женские головки, а если можно так и не одни головки⁹. Он Вам, пожалуй, порасскажет о цветных женщинах. Если спросите его невзначай о Сандвичанках, то он наверное покраснеет. Что Вам сказать о себе — нечего, разве что я чудовищно потолстел, что иногда бываю так болен своею печенью, что теряю надежду даже воротиться. Недавно такая боль около печени и сердца и вместе такая тоска одолели, что я опасаюсь слечь. К счастью явилось развлечение, и легче стало. Развлечение это состояло в свидании адмирала с нагасакским губернатором. Я бы описал вам всю эту церемонию, да долго будет и не сумею. Скажу только, что вся эта сцена будто вырвана из какого-нибудь фантастического балета или оперы. Я думал, что я сижу в партере Большого театра или вижу одну из тех картин, которых действительности не веришь.

Вы там в Европе решаете теперь вопрос быть или не быть, а мы спорим о том сидеть или не сидеть, т. е. стоя ли принять бумагу от нас или сидя, и опять задумались над вопросом, как сидя: на полу, или на стульях, и наконец решили, что на том и на другом: мы — на стульях, японцы — на полу. Теперь представьте себе, вдруг семь наших

* Дядя его наш посланник в Америке.

** Крайности сходятся.

*** Края света.

военных * шлопок двинулись при звуках музыки, при криках ура, по рейду, между тем как суда наши сверху до низу покрылись разноцветными флагами всех наций и матросы стояли по рядам. Мы, в строгом порядке, все с музыкой ехали мимо великолепнейших, обработанных берегов, цветущих холмов, бухт, деревень. Берег усыпан был любопытными **, тощим, полным, жалким на взгляд народом и еще более жалкими солдатами; на берегу мы отказались сесть в носилки, в которые трудно было влезть всякому из нас, а мне просто нельзя, и пошли пешком.

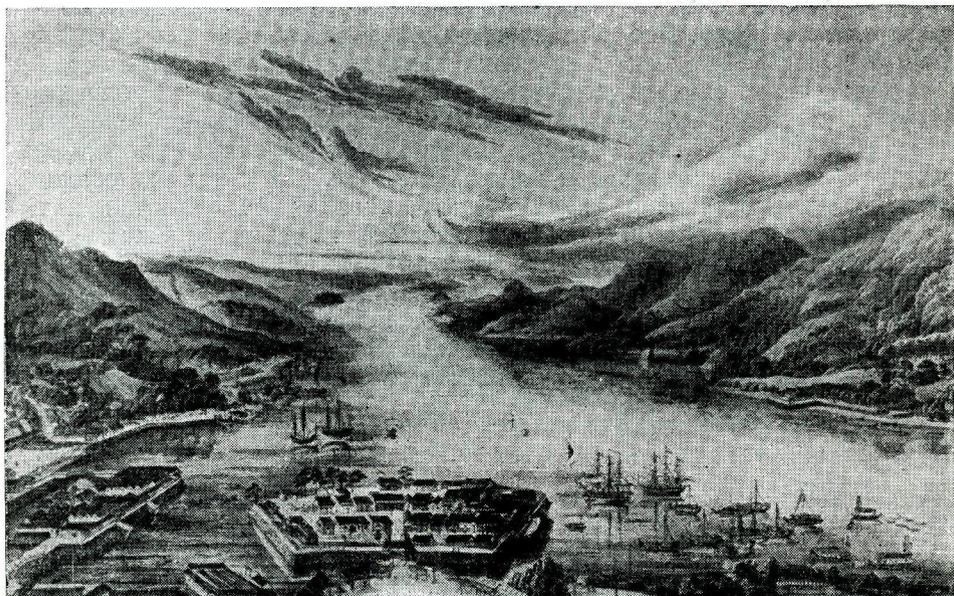
Впереди шел церемониальным маршем наш караул, потом музыканты, потом офицеры наши, потом адмирал и вместе с ним его небольшая свита, в которой был и я. Все были в парадных мундирах, а я в единственном и стало быть в самом парадном фраке. Мы шли по узкой улице, подымались на какую-то лестницу. Колонна солдат змеилась, идя по лестнице, музыка далеко разносилась по берегу, по сторонам стояли какие-то чучелы с ружьями (в чехлах) и сонно смотрели на нас. Я сам думал, не во сне ли я? Нет: явно слышу крик офицера по-русски: л е в о е п л е ч о в п е р е д — м а р ш! Потом страшный топот шагов, вижу блеск штыков, и вот колонна скрылась под какие-то ворота, музыка замерла глухо. И вдруг стихла. Мы пришли. Смотрю — открытая галерея: это вход в губернаторский дом. Мы вошли по ступенькам и шли по ряду комнат до приемной залы. Все комнаты унизаны были по стенам сидевшими в несколько рядов японскими офицерами и чиновниками в парадных платьях. Представьте себе до ста человек, которые побились об заклад о том, кто сделает глупее рожу: вот эдакие сидели тут. Может быть многим из них не нужно было очень и стараться об этом. Они, по восточной манере, не глядели ни на кого и ни на что, но все видели. В приемной зале по сторонам сидело тоже человек 30, по-своему, на пятках, с такими же сонными и бессмысленными лицами.

Желание и обычай их казаться при старшем как можно глупее доходит до самоотвержения. Тут я увидел много знакомых, даже приятелей. Некоторые, очень бойкие на фрегате, тут совершенно присмирели. Я хотел некоторым из них кивнуть: куда! и не глядят, не смеют. Вот, например, друг мой Баба-Горадаймон, который лишь завидит меня на фрегате, кричит: Гончаров! жмет руку и чокается рюмками, тут и не замечает ничего. Он не глядит ни направо, ни налево, ни прямо, как это они умеют делать, не знаю, — он даже похудел немного от усилия показаться как можно почтительнее. Вышел губернатор с важным и весьма не глупым выражением на лице — это, я думаю оттого, что он был тут старший. При другом, старшем себя, он бы тоже поглупел не мало. Стали разговаривать через переводчиков, которые (двое) лежали, касаясь лбом пола, и по-голландски передавали нам слова губернатора. Тут я, чуть было, не нарушил всей важности этой сцены. Надо знать, что пол у японцев покрыт тонкими и мягкими циновками и так как у них нет ни столов, ни стульев, и они едят на полу, то адмирал, чтобы оказать им внимание, придумал, чтобы мы все и он сам надели сверх сапог белые, нарочно для этого шитые башмаки в роде бальных дамских. Вот эти-то проклятые башмаки погубили было всю торжественность случая. Едва я вошел в залу, как потерял один башмак, а шага через два и другой. Однако же я поднял их и, держась за соседа, начал втаскивать на ноги. Все это совершенно мною не без оханья и кряхтенья, да и то не помогло. Через пять минут я поглядел случайно на свои ноги — они были без башмаков. Нечего делать, я взял эту обувь и положил в шляпу, да так и остался. Отдав губернатору бумагу, адмирал хотел было продолжать разговор, но губернатор попросил нас отдохнуть — бог

* Далее тщательно вычеркнуты три слова. [Р е д.]

** Слово читается неясно. [Р е д.]

весть от какой усталости — и ушел в одну сторону, а нас повели в другую. Там в отдыхальне стояли привезенные нами же кресло и четыре стула. На кресле сел адмирал, а на стульях старшие из свиты; в том числе и я. Слуги принесли каждому по чашке чая, которую поставили у ног. Чай не дурен, в роде желтого, разумеется без сахара. Потом принесли прибор с табаком, трубками, величиной с половину наперстка, и с пепельницей с горячими угольями. С тем же кряхтеньем нагибался я достать табак. Наконец принесли каждому по хорошенькому деревянному ящичку с конфетами, из которых многие очень хороши. Между прочим недурна и засахаренная морковь. Эти ящички, из которых мы взяли по одной или по две конфеты, передали нашим слугам, чтобы отвезти за нами на фрегат. Вот он стоит у меня на бюро; конфеты я все съел, а в ящик кладу сигары. Потом пошли



НАГАСАКСКИЙ РЕЙД
Современная гравюра

опять к губернатору и, поговорив немного, простились. Проходя через отдыхальню, увидели большой стол, вероятно занятый у голландцев, с паштетамы, рыбами, лафитом, мадерой и т. п. Желудки наши взвыграли было при этом виде, но адмирал на усиленные просьбы японцев ответил, что он не иначе примет угощение, как с тем, чтобы в нем участвовал и губернатор, а он не участвовал, и угощение было отвергнуто, как несообразное с нашими обычаями. Он очень хорошо сделал: всякий вздор, всякая мелочь принимается японцами к сведению и по ним они составляют себе идею о людях. Так мы и уехали. Хотите знать, как зовут губернатора? Овосава Бунгоно Ками-Сама. Ками — это намек на небесное происхождение лица, а Сама — земной почетный титул.

Что Вам сказать еще? Американцы¹⁰ пристают к японцам с другой стороны. Те вломились прямо в Иедо и, оставив письма, ушли, сказав, что придут за ответом через полгода. Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда или в Ситху или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не отдадутся, — и если нужно, то будут биться, слышь, до последней капли крови. Да и здесь стоять тоже не находка: иногда дуют такие

ветры, что, живучи на берегу, ничего подобного и представить себе нельзя. Теперь пока погода прекрасная, я купаюсь еще на открытом воздухе.

Если же в Европе мир и если дела с японцами затянутся в долгий ящик, то адмирал располагает отправиться на зиму в Манилу. Говорят, это земной рай, та же Испания с мантильями, синьорами (до которых мне никакого нет дела, так я растолстел), с плодами и цветами, с монахами и хорошими сигарами и в добавок еще Испания тропическая. Вы может быть спросите меня, весело, скучно ли мне? Ни то, ни другое — отвечу я: в некоторых местах состояние в этом отношении делается безразличным и оттого я терпеливо ожидаю, когда кончится моя шалость, т. е. путешествие (см. 1-ое мое письмо из Лондона).

Но вы здоровы ли, веселы ли, что делали летом? Как располагаете провести зиму? Счастливы: летом гуляли под березами, ели белые грибы и ботвинью да наслаждались северными ночами, а зимой — несчастные — будете слушать оперу. Мое лето длится восемь месяцев, началось оно 18 января с острова Мадеры и вот не может кончиться. Как бы охотно отдал я тропические ночи, ананасы, все чудеса и приключения — за час, проведенный у Вас на диване или на балконе и за другой на Стеклянном заводе. Но полно: *tu l'a voulu, George Dandin, tu l'a bien voulu!* слышится мне беспрестанно, когда я захандрю, и хандра проходит. До свиданья, обнимаю Вас всех, преимущественно друзей женского пола — Вы, Капитан, и ты, Льховский, обойдетесь и без объятий: зачем Вас не было у Нагасакского губернатора. Описание мое конечно было бы полнее. Вы, Старик, поклонитесь А. П. Кореневу и скажите, что я бы написал ему, но пишу бумаги и потому оставляю до октября. Получил ли он мое письмо через Заблоцкого? Вам, Аполлон и Анна Ивановна, кланяюсь низко и прошу поклониться всем — не забудьте Катерину Федор., Яновского, Дудышкина, Никитенку etc ¹¹.

¹ Михаил Парфенович, — Заблоцкий.

² Бодиско, Фед. Ник., чиновник нашего посольства в Вашингтоне, посланный с дипломатической почтой к Путятину. Ввиду надвигающейся войны с Англией — Мин. иностр. дел пыталось сноситься с Путятиным через Америку.

³ Катерина Павловна — жена Владимира Николаевича Майкова.

⁴ Анна Ивановна — жена Аполлона Николаевича Майкова.

⁵ Ю — ка — Юлия Дмитриевна Ефремова.

⁶ Бурька — Л. Н. Майков.

⁷ M-elle Saint — французенка-гувернантка, жившая в доме Майковых.

⁸ Наталья Степановна — осталась нам неизвестной.

⁹ «Не одни головки» — Николай Аполлонович Майков славился своими «ню», иногда довольно нескромного содержания.

¹⁰ «Американцы пристаю т...» Командор Перри со своей внушительной эскадрой прибыл в залив Иедо 8 июля 1853 г., за месяц до прибытия Путятина в Нагасаки. Облеченный Конгрессом неограниченными полномочиями, вплоть до права объявления войны, он повел дело чрезвычайно круто. Вручив спешно вышанным представителям Сеочуна послание президента, он заявил, что через полгода придет сюда же за ответом, который должен быть положительным. Как известно ответ был положительным и американцы первые заключили торговый договор с Японией.

¹¹ О лицах, которым передаются поклоны см. прим. к письму № 3 и след. Екатерина Федоровна осталась нам неизвестной.

20. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ ¹

15/27 декабря, Saddle — Islands

Я сегодня получил Ваше письмо, любезный друг Михайло Александрович. Нечего и говорить, какое утешение доставило оно мне: все равно, как будто я просидел у Вас целый вечер и пришел домой покойный и довольный — до следующего вечера. Вы удивляетесь, что я не получил Ваших писем: когда я писал к Вам с Бутаковым, то у меня писем Ваших еще не бы-

ло — я их получил ровно через два месяца после того, т. е. отъезда Бутанкова; их привезли к нам Кроун и Бодиско. Министерство Иностранных Дел так распоряжается, как я вижу теперь, что собирает все письма и, скупясь отправить их с депешами по почте, ждет случая послать с курьером. Но теперь курьера долго не предвидится, и потому я долго не дожусь и писем от Вас, если только Вы давали их туда. Вы отлично распорядились, что послали почтой через Гон-Конг: сделайте и опять так же. Несмотря на то, что мы долго не посылали в Гон-Конг и письмо Ваше много времени лежало там, я получил его через три месяца, а это очень сносный срок для такого расстояния. — О кончине Андрея Андреевича Колзакова Вы, должно быть, или вовсе не писали ко мне, или письмо Ваше в самом деле затеряно. О переменах в конторе я получил от Вас известие в письме, присланном с курьером, но там ничего об этом нет. Во всяком случае я как нельзя более благодарен и за письмо, и за все, что сообщаете нового о знакомых лицах, о Петербурге и etc. От Майковых я после писем, привезенных в августе курьерами, других не получал: они или ленятся, или пишут через Министерство Иностранных Дел, и то держат у себя. Если бы они поленились (что не простительно прешно), то написала бы Ю. Д. Ефремова или Льховский. Научите и их написать по почте: я могу получить письмо через два, много через три месяца. Адрес тот же, т. е. China, Gong-Kong M-ss Williams, Anthon et Co To be forwarded on board of the russian frigate Pallas. А внизу по-русски такому-то.

В заглавии письма Вы видите Saddle — Islands: это группа маленьких островов, у которых стоит наша эскадра на якоре. Дальше, в р. Ян-Тсе-Киянг суда по мелководью итти не могут, т. е. фрегат. Мы здесь уже другой месяц стоим: я дней пять, как воротился из Шанхая, куда вместе с адмиралом и другими спутниками нашими ездили и по службе и так — посмотреть Китай. Шанхай — один из пяти открытых для европейцев портов. Ходя по улицам европейского квартала, среди великолепных домов, или сидя в роскошной гостиной какого-то консула, не веришь, что это — недавно еще неприступный азиатский берег; по улицам кипит толпа народа, с бритыми головами, с косами, но все почти говорят по-английски. С зарей по улицам начинают таскать тюки товаров, все к англичанам или американцам. Чай таскают ящиками, оставляя по следам дорожку этой травки, которую у нас подобрали бы не одни нищие, — как у нас иногда оставляют от кулей дорожки муки. Китайские дома, рынки, базары, лавки, говор, крик, харчевни — все это напоминает мне — знаете что? наш простонародный русский базар! Обо всем этом я иногда, на досуге, набрасываю заметки в тетрадь, не зная, пригодится ли на что-нибудь. Но досуга немного: я никак не воображал, чтобы так много было дела. А если и дела нет, то под парусом в море не много расплишешься: холодно, как теперь, например, или качает так, что столы и шкапы срываются с места.

Спасибо Вам за то, что Вы заботитесь о присылке журналов к нам. Этого я даже всего и не приму на свой счет, потому что мне самому едва ли придется прочесть все. Но это будет благодеяние для всей нашей эскадры; охотников читать много и все благодарят Вас. Только меня приводит в смущение выноска, сделанная в Вашем письме: что редакторы ожидают от меня статейки. Вот это-то и беда. Поверите ли, что у меня набросано на бумагу в виде письма всего три-четыре статейки? Одну какую-нибудь я может быть и послали бы Андрею Алек.², исполняя давнишнее обещание, да мне не пришло в голову о возможности напечатать без себя: лучше уж вместе все, если только наберется побольше. Но все это такие пустяки, что совестно и показывать. А потом неудобно еще печатать заранее и потому, что о нашей экспедиции печатно, помнится мне, ни разу не говорилось. Иногда мне бывает просто лень писать, тогда я беру — как вы думаете что? Книжку Ивана Сергеевича!³ она так разогревает меня, что лень и всякая

другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождается охота писать. Но тут другая беда: я зачитаюсь книжки, и вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера случилось это: как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля и—что все[го] приятнее—среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском — и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море; где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин Луг — так и ходят около. Кланяйтесь ему и скажите это от меня. И Павлу Васильевичу⁴ кланяйтесь: так он издает Пушкина! Как я рад, я жаркий и неизменный поклонник Александра Сергеевича. Он с детства был моим идолом, и только один он. Я бьюсь навязывался на подарок экземпляра, да Павел Васильевич, уклончивый вообще, в этом случае уклонился с особенным старанием. Коршу мой поклон и семейству. Я рад, если он наследует Надежде⁵, но мне жаль Николая Ивановича.

¹ Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским во Врем. Пушк. Дома на 1914, стр. 98 — 103.

² А. А. — Краевскому, для «Отечественных Записок».

³ Иван Сергеевич — Тургенев, его — «Записки охотника», которые Гончаров считал лучшим произведением Тургенева.

⁴ Павел Васильевич Анненков, приступивший к изданию Полного Собрания сочинений Пушкина.

⁵ Надежди и, Николай Иванович — редактировал тогда журнал Министерства народного просвещения. В 1853 г. его разбил паралич. В. Ф. Коршу устроиться редактором Ж. М. Н. Пр. не удалось.

21. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ

13/25 марта 1854 г.

Остров Камигуин, порт Pio Quinto

Не только Вы, мои малосведующие в истории друзья: Михайло Александрович и Екатерина Александровна, но и все наши приятели, члены географического общества, едва ли сразу, без справки, скажут, откуда я к Вам пишу, что это за остров Камигуин? Зачем я туда попал, спросите Вы. Скажу Вам сначала это, а потом что-нибудь другое. Остров Камигуин принадлежит к группе Филиппинских Островов. «А где были эти Филиппинские острова?» скажете Вы непременно, Мих. Алекс., и, по обыкновению, расшепчите всех присутствующих этим самопожертвованием, не исключая и тех, которые знают об этом еще менее Вас. Возьмите общую карту Азии, или просто обоих полушарий и к югу от Китая и Японии вы увидите как будто засиженное мухами небольшое пространство: это и будет архипелаг Филиппинских Островов. Их всех до тысячи: у одной из этих тысячных долей, отмеченных на карте точкой, лежащей немного к северу от главного острова Люсона, стоят в заливе, в порте Пия V, наши два судна, прячась от англичан. Если у нас с ними война, то конечно они не замедлят явиться из Китая со всеми своими фрегатами и пароходами искать и взять нас. Наши отдаваться не намерены, предпочитая, если не одолеем, взлететь на воздух. Не одно опасение встретиться с англичанами заставило нас зайти в этот покрытый сильной тропической растительностью, но безлюдный островок: судно наше все более и более напоминает, что ему пора на покой. Еще во время выдержанного нами в июле прошлого года тифона прот-мачта зашаталась у нас, а в нынешнем году погнулась на бок и фок-мачта и на днях дала трещину. Надо было куда-нибудь забежать, чтобы взнуздать ее немножко, пока придем на север, в свои колонии, и дождемся там Дианы. В другое время мы сейчас же бы зашли в Шанхай, Гон-Конг, а теперь того и гляди началась с англичанами война: эти порты в их руках и мы попались бы к ним живьем. Нейтральных портов вблизи нет, кроме Манилы (на Люсоне) и Нагасаки. Но англичане не уважают (sic!) нейтральных прав, потому что и Испания и Япония слабы и помешать им не в силах. Вот почему Вы

обязаны удовольствием или неудовольствием получить письмо из неслыханного места.

Что сказать Вам о путешествии, откуда продолжать, где я остановился? Ничего не знаю, потому что не знаю, получаете ли Вы мои письма. Я часто писал и именно: из Нагасаки два раза. Первый раз целую кучу писем послал я, и все наши, с почтой через Министерство Иностр. Дел. Но дошли ли они — сомневаюсь. Их адресовали в казенном пакете с другими пакетами на имя нашего консула в Египте; но тогда уже начинались несогласия с Турцией и может быть консул выехал; в таком случае письма вероятно пропали. В другой раз я писал с нашим курьером Бодиской, который отправился в ноябре. Если его не захватили дорогой, то конечно письма у Вас в руках. — О первых же письмах, посланных через консула, потрудитесь справиться в канцелярии Министерства Иностранных Дел или в Азиатском Д-те, у Заблочкиго, на имя которого я послал их все в одном общем пакете. Наконец в последний раз я писал с другим нашим курьером, лейтенантом Кроуном в декабре; этот поехал в самый разгар войны, и может быть захвачен, если только не отправился через Батавию или через Америку. Кроун поехал из Шанхая. Вскоре после его отъезда мы вторично пошли в Японию, в Нагасаки. Она так надоела нам, эта Япония, что никто из нас ни за какие коврижки не согласился бы отправиться в Иедо. Во всем застарелое младенчество, наивная глупость в важных жизненных и государственных вопросах и мудрость в пустяках; лицемерие, скрытность, ребячество, юбки и косички и поклоны — все это надоело. На меня находит хандра при одной мысли, что может быть еще придется заглянуть нынешним летом опять туда. Последний месяц нашего пребывания там был довольно впрочем занимателен: в Нагасаки прибыли из Иедо два важные лица с большой свитой для переговоров с адмиралом. Мы через день ездили в Нагасаки, обедали там по-японски, и полномочные два раза были у нас и провели по целому дню. Они были поражены, по собственному признанию, всем, что видели у нас: нашим приемом, — угощением, музыкой, разнообразием и богатством подарков, видом большого судна, артиллерийским и парусным учением, всем, всем и между прочим отличной вишневкой и шампанским. Оттуда мы отправились на Ликейские Острова (Лю-чу) (вот опять Вам случай сказать Ваше милое не знаю, где). Я много читал об этих островах, о наивности жителей, о их гостеприимстве, смирении, кротости, патриархальном образе жизни и прочих добродетелях золотого века и считал все это за шутки, первого посетившего их Базиля Галля¹. Но к удивлению моему, я нашел, что картина его этой брошенной среди океана идиллии далеко не полна, что все так, как он пишет, по крайней мере наружно. Действительно — это ряд восхитительных долин, холмов, журчащих ручейков под темным сводом прекрасных разнообразных деревьев. Везде обработанные поля, труд и довольство. На берегу нас приветствовали какие-то длиннородые старики, с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами. Чорт знает что такое: вспомнишь не то Феокрита², не то Галлера³, не то русскую сказку о стране, где текут реки меда и молока. А здесь — лучше меда — сахарный тростник, молоко из кокосов, бананы и т. п. Я дополнил, как умел, картину Базиля Галля, записал, что видел, да боюсь, не поверят.

С этих блаженных островов пошли мы в Манилу и через неделю, из глуши, вдруг очутились в месте, тоже отчасти сказочном, хотя и в другом роде.

Что это за ералаш! Вот, например, длинные улицы, с висячими сплошными балконами, с жалюзи, из-за которых выглядывают бледные, черноглазые испанки чистой крови или жеманное лицо какого-нибудь *Dottore Bartholo*⁴, с монастырями, с толпой монахов всевозможных орденов, метисов и индейцев. Тут тишина, сон и лень. Но выйдешь за стены испанского города, картина меняется вдруг: с одной стороны, деятельная, кипучая тор-

говля между полунагими полубритыми китайцами, которые по влиянию и многолюдству играют важную роль, с другой — деревни тагалов (индейское племя), которые во сне и лени не уступают своим господам — испанцам, которые — все нищие, живут в каких-то птичьих клетках, но которые ни в чем не нуждаются. Одеваются в материю домашней работы из волокон дерева, пища над головами, или под ногами — банан и рис. Наслаждения — стравить петухов и выпрять. А за этим за всем идут поля и плантации. Какие поля, какие леса и деревья!

Я каждый день, лишь спадает жар, углублялся в эти нескончаемые темные алей из бамбуков, пальм, фигов, хлебного дерева, саго (я называю здесь только то, что знаю, а сколько неизвестных!) и все не мог привыкнуть к этому зрелищу. Я жил в отеле и утро осматривал город, ездил (здесь никто не ходит пешком, кроме простого народа) по лавкам. С полудня до четырех часов все спят: я свято соблюдал этот обычай. Зато вечером — в коляску и в поля, оттуда на публичное катанье, в роде как у нас у качелей, оттуда на Эскольту, есть мороженое, потом на площадь слушать превосходную полковую музыку, потом ужинать, пить чай, сидеть на веранде, любясь на тропическую ночь, лунную, с удивительными звездами, теплую, даже жаркую. Все идет после этого спать, а я раздевался в своем номере до невозможности и, кусаемый до невозможности же комарами, при свете полнейшего ночника с кокосовым маслом (couleurs locales), писал... Со мной бодрствовали ящерицы, да канирля, как называет хозяин-француз, огромнейших, более вершка, летучих тараканов. И те и другие бегают по стенам, не делая никому вреда. Что же я писал — спросите вы. Да записывал: то о Маниле, то доканчивал о мысе Доброй Надежды, то, чего не кончил в свое время. Делал это просто, не мудрствуя лукаво, со свойственным мне беспорядком, начиная с того, чем другие кончают, и наоборот. Дурно, бесполезно, ничего нового, занимательного; занимательно будет только для меня одного, если только в мои лета, с моими недугами, станет у меня охоты вспоминать о чем-нибудь. Мой собственный частный портфель набит довольно туго пустяками, это правда, но уж больше туда не лезет, и я думаю, по случаю этого естественного препятствия кончить, положить перо туриста и взяться за должностной свой труд, который отстал. Адмирал несколько сердится на меня, что официальный журнал остановился и нейдет вперед. Да как ему и идти? Мне никто не поможет: специальных ученых у нас нет, а записывать происшествия нашего плавания так, как они есть, не стоит, выходит пусто; о морском деле я писать не могу. Да и некогда было: в Японии было много бумаг, много прямого дела, а остальное время мы шатались по морю: а там немного напишешь: при малейшей качке нет средств писать, в жары тоже, спрятаться здесь негде. Впрочем, мы так мало были везде у берегов, что от нас никакого журнала и требовать нельзя.

Вам, прекрасный друг мой Екатерина Александровна, ни до каких журналов дела нет, это я знаю; Вам бы конечно хотелось слышать что-нибудь позанимательнее. Но что я могу сказать, чтобы Вас заняло? Скорей мне надо просить Вас рассказать мне новости, случившиеся в кругу наших знакомых. Еще приятнее мне было бы услышать от Вас, что Вы также дружелюбно любите меня, что, по возвращении, опять будете говорить мне: «придите вечером, придите завтра, после завтра», и так же не будете тяготиться моим ежедневным присутствием, как не тяготились до моего отъезда. — Что дети Ваши? Что друг мой Августа Андреевна? Кланяйтесь ей и мужу ее. Надеюсь, с Дианой получить от Вас письмо. Но до этого еще долго. Ах, как мне скучно, как бы хотелось воротиться скорее! Зачем, спросите вы? И сам не знаю. Ну, хоть за тем, чтобы избавиться от трудов и беспокойства плавания. Как надоело мне море, если бы вы знали: только и видишь, только и слышишь его.

РУССКІЕ ВЪ ЯПОНИИ

ВЪ НАЧАЛѢ 1853 И ВЪ КОНЦѢ 1854 ГОДОВЪ

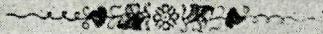
(Изъ путешествія самматокъ)

И. ГОНЧАРОВА.

Наблюденіямъ

Академіи

Историческаго



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

1855.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ И. А. ГОНЧАРОВА «РУССКІЕ ВЪ ЯПОНИИ» С ДАРСТВЕННОЙ
НАДПИСЬЮ П. В. АННЕНКОВУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Вы, Элликониди Александровна, конечно прочли все это письмо и видите, что мне скучно, даже тяжело, хотите утешить меня, даже успокоить? Повторите, что Вы сказали в одном из Ваших писем, ну, хоть солгите, если бы правды не хватило: скажите, что Вам веселее будет, когда я ворочусь, что Вы с Екатериной Александровной по прежнему будете каждый день пускать меня к себе и терпеливо выносить, как я буду сидеть по целым часам молча, или бранить желчно, кто попадаетея под руку? Да? Так? Ну, чокорно вас благодарю.. До свидания же, дайте руку и не сердитесь, что мало пишу — устал.

Ваш И. Г[ончаров]

Письмо это повезет одно из наших судов в Камчатку и там отдаст на почту. Кланяйтесь всем: Никитинке, Краевскому, Панаеву и прочим. Предлагаемое письмо передайте Майковым; я не знаю, там ли они все живут. Потрудитесь сказать А. Кореневу, что я буду к нему писать с Амура. Получил он мое письмо с нашим курьером?

¹ Галль, Базиль (Hall, Basil, 1788—1842), английский путешественник. В 1816-1817 первый из европейцев посетил Ликейские Острова (Лю-чу) на корабле «Лира» и описал их в книге: Account of a voyage of discovery to the Western coast of Coa and the greit Louchov Island (Lnd. 1818). Эту книгу и имеет в виду Гончаров.

² Феокрит — греческий поэт III века до н. э., родоначальник идиллического и пасторального жанра в поэзии.

³ Галлер, Альбрехт (1708—1777) — знаменитый швейцарский ученый и поэт, писавший в дидактико-идиллическом жанре.

⁴ Dottore Bartholo — один из персонажей оперы Россини «Севильский цирюльник».

22. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

Филиппинские Острова. О. Камигуин. порт Пио-Квинто
14/26-го марта 1854 г.

Нужды нет, что отсюда до вас более 25 тысяч верст, но Вы все постоянно присутствуете в моем воображении, я всех Вас вижу и зорко слежу за каждым и за каждой. Вы, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, занимаете середину картины, на двух ваших диванах, а кругом в живописном беспорядке и все прочие, которых не называю, но которые конечно, как на переключке, все скажут я! Здоровы ли Вы, что делаете? Вот вопросы, которые постоянно посылаю мысленно, словесно и письменно к северу, и не могу добиться ответа. Если захотите послать такие же вопросы к юго-востоку, то адресуйте к Языкову: на некоторые он ответит сейчас же. Я пишу к нему, где я был и что делал до сих пор. Вам скажу только, что путешествие надоело мне, как горькая редька, до того, что даже Манила, куда мне так хотелось и где мы пробыли недели две, едва расшевелила меня, несмотря на свою роскошную растительность, на отличные сигары, на хорошеньких индейнок и на дурных монахов. Мне прежде все хотелось в Америку, в Бразилию, а теперь рад-радехонек буду, если бы пришлось воротиться хоть через Камчатку в Сибирь. Я за недостатком моциона жирею и толстею так, что меня теперь в хороший дом пустить нельзя. На море бы и не глядел: другие свыкаются с ним и любят, а я чем больше плаваю, тем больше отвыкаю. Качка меня бесит, буря, обыкновенное явление на море, путает, образ жизни на корабле томит. Люди надоели и я им тоже. Вот третий день стоим у островка на якоре, берега покрыты непроницаемой кудрявой зеленью, такой, что Вы, Евгения П., за счастье бы сочли каждую травку и ветку посадить в горшок в своей комнате, а я еще и не съехал ни разу на берег, несмотря на то, что сегодня там был шумный обед с музыкой — и разными удовольствиями. В тропиках мне невыносимо жарко, а подвинемся

к северу — холодно. Зубы опять болят, и в тропиках и на севере. Ревматизм просто водворился и в виске и челюстях и беспрестанно напоминает о себе. Нет, чувствую, что против природы не пойдешь: я несмотря на то, что мне только 40 лет, прожил жизнь. Теперь, куда ни пошлите меня, что ни дайте, а уж я на ноги не поднимусь. Пробовал я заниматься, и к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские Острова, все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня только на время. Вдруг оказались они мне не стоящими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные — и я бросил писать. Что же я стану делать год, может, и больше.

Но жаловаться нечего и не на кого, я ни минуты не рассказывался в том, что поехал, и не рассказываюсь до сих пор, потому что, сидя в Петербурге, жаловался бы еще больше. Лучше скажу, что мы намерены делать. Мы узнали в Маниле, что английский и французский флоты уже вошли в Черное море и, следовательно, война почти неизбежна, вот мы и тягу оттуда, чтобы не пришли английские суда вдвое сильнее наших и не взяли нас. Теперь плавание наше делается все скучнее и скучнее. Нет ни одного порядочного места, где бы не было французов и англичан. Поневоле должны идти на север, прятаться где-нибудь около Камчатки. Уж если так, лучше бы вернуться. Но вероятно придется зайти еще в Японию. В последнее время мы зажили с японцами дружески. Они давали обеды нам, а мы им. Чего я не ел тут! Помните, я всегда обнаруживал желание пообедать у японцев и китайцев? Желание мое было удовлетворено свыше ожиданий. Мы обедали у японских вельмож раз десять и, между прочим, были однажды угощены торжественным обедом от имени японского императора. Так как японцы столов не употребляют, то для каждого из нас сделан был особенный стол, на каждом столе было поставлено более двадцати чашек и блюдец с разными кушаньями. Мяса не едят и нас потчивали рыбой, зеленью, дичью, трепангами (морскими улитками), сырой рыбой, приправленной соей, и т. п. Но всего этого подают так немного, что я съел все 20 или 30 чашек, да еще, приехавши домой, пообедал как следует; и другие тоже. Сигун прислал нам подарки, состоящие из материй (предряных) и фарфору. Адмиралу и трем из его свиты, в том числе и мне, подарили по несколько кусков этой материи, офицерам по дюжине тончайших, как почтовый лист, чашек. Подарки с нашей стороны были роскошны. Вельможки напротив надарили адмиралу превосходных вещей — такое множество, что из них можно составить прелюбопытный музей. Некоторым из нас, и мне тоже, прислали они кое-что в подарок: лакированных ящичков, трубок, чернильниц, своего табаку. Все вздор, но я храню как редкость и как воспоминание. Если доведу, то поделюсь с Вами. К сожалению, всего этого мало: мы хотели купить, да не продают.

Не сердитесь, что письмо вяло и неполно. Я сообщаю Вам кое-какие крупные сведения, на выдержку. Подробности записаны у меня в путевых записках, иногда с литературными заметками, но без всякой лжи. Если доеду и привезу их, то прочту, разумеется, Вам первым. Если утону, то и следы утонут со мной. Посылать не хочу, потому что большая часть набросана слепка и требует большей обработки. Да и кто разберет мое писание? Не знаю, даст ли мне бог этот праздник в жизни: сесть среди Вас с толстой тетрадью и показать Вам в пестрой панораме все, что происходит теперь передо мной. А хотелось бы.

Вас, Аполлон, и вас, Старик, обнимаю, так же как и супруг ваших: старику это позволительно.

На Вас, прекрасный друг Юния Дмитриевна, я предьявляю всегдашние

свои неотъемлемые права, т. е. обнимаю без спроса Александра Павловича, которому дружески кланяюсь. Я было хотел написать к Вам особо, да вышло чересчур мрачно и холодно, согласно тому, что происходит у меня на душе. Зачем? Это не хорошо, не годится. У Вас мраку, холоду и печали довольно и без того. Здесь же так светло, тепло, роскошно, что совести быть эгоистом и навязывать другим свою скуку.

Вам, милый Лховский, только поклон и больше ничего. Я к Вам пишу в особых письмах такие глупости, что, я думаю, Вы удивляетесь и спрашиваете себя: ужели это писал человек, который по обыкновенному порядку вещей должен бы кажется поумнеть, увидя свет или хоть полсвета. Если будет случай написать через Сибирь, то напишу, в таком впрочем только случае, когда будет повеселее. А то все одно и то же: жить не хочется, а умирать боюсь.

Хотел было я в Маниле запасть сигарами, чтобы стало и всем Вам, да нет никакой возможности. Я купил себе три тысячи в 12 ящиках и они так загромоздили мою маленькую норку, что два ящика стоят на постели в ногах, а один я должен был вскрыть и разложить сигары по ящикам в бюро. Сигары стоят 14 талеров лучшие, большие, а маленькие по 8 талеров за тысячу. А у нас за них платят, кажется, по 7 и 8 руб. сер. за 100. Каков процент берут! Здравствуй, милый Бурька: вырос ли ты? Купили ли наконец тебе галстук, тросточку и часы? А что делает Марья Федоровна? Все ест постное?

Поклонитесь от меня всем¹ и прощайте.

Ваш Гонч[аров]

Относительно лиц, которым передаются приветствия, см. прим. к №№ 1, 3, 19.

23. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

15 июля 1854

Я большой эгоист, Вы это знаете, особенно Вы, Евгения Петровна, Вы много раз меня в этом упрекали; и так как я не отрекаюсь от этого титула, то позвольте же мне воспользоваться и присвоенными ему правами, например, еще напомнить о себе. «Зачем, мы этого не требуем», скажете Вы. Да мне то что за дело? я нуждаюсь в этом — вот и причина, весьма достаточная, для письма. Угадайте, откуда пишу? Из лесу. Из какого, откуда — не велено сказывать: пожалуй, предадите англичанам, особенно опять-таки Вы, мой друг, Евгения Петровна. Ведь Вы женщина, следовательно предательство разрешено Вам самой природой. Мы теперь одни, других судов нет с нами, и оттого мы бегаем от англичан, как по словам отца Аввакума, бегают нечестивый, ни единому же ему гонящу, т. е. когда никто за ним не гонится. Мы укрылись в одно из самых новых наших заселений, где никто еще и не живет, а кочуют тунгусы, мангуны, орочоны, медведи, лоси, соболи и выдры; где еще ничего не заведено, кроме кладбища. На нем уже успело улечься прошлой зимой до 30 чел., умерших от цынги. Мы живем все на фрегате. Я думаю даже, что берег вреден для меня, и оттого схожу редко. Я так привык к палубе, к своей каюте, перед которой из окна видна бизань-мачта с кучей снастей, а через борт море, во всех его видах, что когда переехал в Маниле недели на полторы пожить на берегу, мне стало скучно в первые дни. Мы стоим теперь в заливе, обставленном таким частым пихтовым и еловым лесом, что он не пускает на берег. Однакож мы ходим по едва протоптанной дорожке. Я познакомился уже кой с кем: с Афонькой тунгусом, например, который подряжен бить нам оленей и сохатых (лосей) для мяса и который все просит «бутылочку», не пустую разумеется. Залив называется Х а д ж и, одна его бухта М а, другая У и, а все вместе Ы р г а. Не угодно ли поискать на карте? Мы, говорят,

пробудем здесь зиму, а зимой бывает до 36° мороза. Домов еще нет. Ужасно, не правда ли? И я бы сказал это самое, если бы ужасался—но чего не делает привычка, во-первых, а во-вторых, невозможность изменить. Ехать назад кругом Америки — ведь это более 25 тысяч верст, семь, восемь месяцев езды морем, мимо англичан и французов. Сухим путем ближе, всего каких-нибудь 10 тысяч верст: но не знаю, хватит ли сил пробраться через Сибирские дебри и тундры, где до Иркутска надобно ехать то верхом на лошадах, а я теперь не усiju верхом и на бревне, то на собаках или в лодках тянуться целые месяцы по рекам, есть тюленину, спать на снегу? Нечего делать—станем зимовать здесь. Афонька уж обещал мне принести к зиме медвежьих шкур за «бутылочку». А что я стану делать? Если меня не потревожит слишком холод, голод, цынга и особенно смерть, то я желал бы писать. И знаете ли, что меня больше всего побуждает к этому? То, что Вы так дружески благословили меня на труд, то, что мне стыдно было бы явиться с пустыми руками, не в публику, а к Вам, в ваш маленький кружок, самый маленький, т. е.—да вы знаете, кто его составляет. Из посторонних прибавьте сюда Бенедиктова и Льховского, если только они посторонние. К Вам я прежде всего пойду искать награды, а потом уже в публику или к Андрею Алекс.¹ И это единственный знак дружбы, который только и могу дать за то, что двадцать лет, так сказать, принадлежу к Вашему семейству. Лишним считаю напоминать о Вас, друг мой Ю—а: вы нераздельны у меня в мыслях с Майковыми; я беспрестанно тасую Вас с Аполлоном, Стариком, дядюшкой, тетушкой², если ошибкой попадетсЯ Кошкарлов, так я быстро выкидываю его, как гадалыщцы выкидывают пикового валета или другую негодную карту, раскладывая игру на столе. Иногда позволяю себе помечтать; будто я с толстой тетрадью выхожу к Вам, и Николай Аполлонович обрадовался почти так же, как тогда, когда поймал леща. К сожалению, радоваться нечему. Тетрадь действительно толстая, но из нее наберется так немного путного, и то вяло без огня, без фантазии, без поэзии. Не подумайте, что скромничаю, это не моя добродетель. Я хотел послать кое-что в Отечественные Записки, да прошу переписать. Нет, уж пожелайте, чтоб сам приехал. Меня пугает одна мысль. Может быть Вам совсем не до того, не до меня, может Вас поглотили семейные обязанности, которые, конечно, расплодилось вместе с детьми. Ну, все-таки пожелайте, чтоб воротился: дети Ваши не найдут себе такого друга, как я. В самом деле мне здесь нечего делать. Теперь в Японию ходить нельзя, да и не зачем больше. Наши укрепляются здесь, строят батареи, готовятся драться: «Смотрите, Евгения Петровна, остерегитесь сказать что-нибудь при этом. Помните, Вы сказали: вот еслиб Вам предложили, Ив. Алек., ехать кругом света, то-то бы рассердились» — и я поехал. Вот молвите теперь слово: «пойдете вы драться с англичанами, как бы не так». И посмотрите, если я первый не полезу к пушке. Не берите же еще греха на душу, скажите лучше: «а чего доброго Ив. Ал. пожалуй сунется и в сражение» — и я струшу. Странно? Ну, да ведь это дело решенное, что Вы меня не понимали никогда. Это подтвердит и Николай Аполлонович, и Аполлон, и Старик, и особенно Льховский.

Мне надо бы воротиться уж и потому, что меня до крайности утомило путешествие: Je fais un mauvais rêve, а не путешествую, и уж давно. Мне все казалось в Петербурге, что я нигде не был, ничего не видел, оттого и скучаю, что о природе знаю по книгам. «Дай-ко мол сам посмотрю, так авось-либо». И поехал не в Германию, не в Италию, а взял крайности. Евгения Петровна удалила меня в другое полушарие, и что ж? У меня усилился только геморрой от недостатка движения на корабле и выросло такое брюхо, что я одним этим мог бы сделаться достопримечательностью какого-нибудь губернского города. Я знаю, что такое эти тропики со своим небом и крестом, эти бананы, пальмы да ананасы у себя дома, вся эта аристократия при-

роды, и плебеи ее,—негры, малайцы, индейцы и китайцы. Дальше уж мне не хочется, в Америку, например, потому что по трем известным легко сыскать четвертое неизвестное. Будет ли мне веселее в Петербурге—не думаю: боюсь, что приеду и места нигде не найду, кроме однакож места столоначальника, которое министр обещал оставить за мной. Пуще всего утомило своим однообразием плавание. Да и притом никак нельзя изолироваться от свежих и крепких ветров, холода и зноя, от качки: во всем надо принимать деятельное участие, особенно в штормах. Штормы напоминают мне отчасти детство. Как буря разыгрывается, свирепеет, прозит, точно бывало в детстве прозят высечь, а стихнет—вдруг будто простили. Да, пора в Петербург, хотя я знаю, что там приеду за прежне. Умственная деятельность вся опять сосредоточится в Департаменте, физическая в хождении по Невскому проспекту, а нравственная—в строгой честности и то отрицательной, т. е. не будешь брать взятки, надувать извозчиков, хозяина квартиры. Но за то хоть отдохнешь у Вас, у Языковых. Дай бог, только, чтоб все было попрежнему у Вас, если ужé нельзя, чтоб было к лучшему.

Я забыл сказать, что мы были в Корее, где вовсе не бывало европейцев. Я сошел всего два раза на берег, и то, чтоб только очистить совесть, чтоб не упрекали, что не ступил ногой на неизвестный никому берег. А то надоело. Чувствую, что я всего менее путешественник и особенно по диким невозделанным местам. Но я вижу, что уж слишком неумеренно воспользовался правами эгоиста, говоря все о себе. А что бы я стал говорить о Вас? Знаете, с которых пор я не получал от Вас писем? С августа прошлого года. Говорят, что все письма на Палладу лежат в Камчатке, а мы не там. Пойдем ли туда, еще неизвестно, как неизвестно потом, что из всего этого будет, т. е. что привезет нам генер.-губ. Муравьев, которого ждут здесь на днях. Поедем ли мы домой, останемся ли—не знаю. И писем от Вас, если только они есть в Камчатке, или в другом месте, я не получу, по крайней мере долго, и долго не узнаю, что у Вас делается. Сам я писал к Вам почти отовсюду, даже с пустого тропического островка Камигуина (в группе О-в Бабуян, к северу от Люсона). Не знаю, дошло ли письмо оттуда через Ост-Индию. Теперь туда мы не пойдем, и письма из России иным путем не дойдут, а и через Сибирь—не вернес.

Теперь к Вам преимущественно обращаю свою речь, рыболовы. Как Вы упали все в моем мнении. Вы, Николай Аполлонович, который всю жизнь носитесь со своим ле щ о м, и вы все—Аполлон, Старик со своими окунями. Знаете, что мы выудили при выходе из тропиков в нынешнем марте? Акулу! Это уж не ловля, а бой, опасное сражение. Мы с топорами и кольями стояли—вокруг и при малейшем взмахе хвоста отскакивали—кто куда мог. Я записал всю эту борьбу и посвящаю ее вам, Николай Аполлонович. Хотелось бы послать теперь этот небольшой отрывок из дневника, да он все-таки величиной с мой лист: мучительно переписывать. Но это все акула, скажите Вы, а не рыба. А! не рыба, а вам рыбы надо,—извольте.—Я не стану говорить о ловле неводом—это вы презираете, а мы ловим им от 10 до 15 пуд. в какие-нибудь три-четыре часа и не презираем: теперь это наш насыщенный хлеб. Но мы ловим и крючками. Когда матросам ехать с неводом нельзя, а между тем к столу надо рыбы, тогда возьмут да и пошлют вестовых, т. е. денщиков, наловить тут же с фрегата крючками. И в час, в два кто несет пять-шесть камбал, кто палтуса, кто бычков, треску, род налимов — словом, рыбы всяких форм и видов. И крючки-то какие: не те красивые из английск. магазина, с изящным поплавком, стальные с разными затеями, а просто грубые, железные. Вам еще вон надо червей копать да разводить их на зиму в цветах у Евгении Петровны, а здесь приманка—кусочек жиру, мяса или той же рыбы. Я теперь убеждалась окончательно, что кто купит удочку в *Cosmétique* или выпишет ружье неслыханной отделки и цены из Лондона или Парижа, тот никогда ничего не поймает и не застре-

лит. Вот Афоньке дали ружье двухствольное, щегольское с пистоном—он пошел в лес и воротился с пустыми руками. «Не умею, говорит, из этого стрелять—возьмите ружье». А из чего он стреляет? Из ружья, которое после всякого выстрела разваливается и которое всякий раз ему складывают и починивают наши слесаря на фрегате. А он на днях убил из него двух лосей. Эх, вы, рыболовы.

Ну, Вы, молодые мои друзья, что: кланяюсь вам братски и целую руки у ваших жен. Обнимаю детей, буде таковые есть. Поклонитесь, Аполлон, приятелям, а Вы, Старик, А. П. Кореневу. Скажите ему, что я писал к нему с месяц назад, но письмо пошло в Камчатку, а оттуда уже обещали отослать с почтой. Когда-то оно дойдет? Вы, Юния Дмитриевна, обнимите Александра Павловича, только смотрите осторожно... А вы, капитан,—кого бы поручить Вам обнять? Прочтите это письмо и вспомните хоть на минуту,



МАНИЛА

Современная гравюра

вечный ветренник, одного из искренних Ваших приятелей. После этих искренних излияний и объятий — позвольте с Вами распрощаться.

Вам, Льховский, я было написал еще письмо, да так скверно, что после и сам не мог разобрать, оттого и разорвал его.

Ваш И. Гон[чаров]

Поклонитесь всем от меня. А что делает Бурька?

¹ А. А. — Краевский, редактор «Отечественных Записок».

² Аполлон Николаевич, Старик — Владимир Николаевич — Майковы; дядюшка, тетюшка — Николай Аполлонович и Евгения Петровна Майковы; о Кошкареве — см. прим. к письму № 3.

24. М. А. ЯЗЫКОВУ

17 августа [1854]

Милый друг Михаил Александрович. Я расквитался с морем, вероятно навсегда. Теперь возвращаюсь сухим путем, но что мне предстоит, если бы Вы знали, Боже мой: 4 тысячи и верхом через хребты гор, и по рекам,

да там еще 6 000 верст от Иркутска. Теперь хлопочу о качалке вместо верховой лошади.

Вот один из самых лихих шоряков, лейтенант Савич, который взялся доставить это письмо. Прилагаю и записку, заготовленную мною прежде. В ней я прошу Вас передать письмо адмиральше Путятиной, но Савич взялся доставить его лично: спросите пожалуйста, доставит ли! Они едут с бароном Криднером курьерами, следоват., скоро, а мы обыкновенным образом, т. е. очень долго. До свидания, до свидания, некогда.

Весь Ваш

И. Гон[чаров]

25. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

14-го сентября 1854 г.

Якутск

Я получил все Ваши письма, посланные с Бутаковым. Ровно через год отвечаю на них. Застали они нас в Татарском проливе, когда мы отчаялись в приходе Дианы, думали, что ее захватил неприятель или она укрылась куда-нибудь в нейтральный порт. Паллада по ненадежности должна была остаться в устьях Амура, а все путешественники готовились уже к возвращению через Сибирь, когда вдруг в один ненастный вечер пришла Диана и Ваши письма. Я несколько не преувеличу, если скажу, что был счастлив этими письмами, перечитывал их через два месяца и опять счастлив! Вот Ваше длинное письмо, бесценная Евгения Петровна. Вы в нем не сообщили мне ни одной новости, почерпнули весь материал из себя, от того оно так и вышло дружески занимательно, след. хорошо. Я просидел будто целый вечер с Вами на балконе и ушел домой успокоенный и свободный от желчи и хандры до завтра. Вот (я знаю это) Вы большая лгунья, особенно насчет любви, мужичина держи с Вами ухо остро, но меня Вы сумели обольстить, и я верю словам Вашего письма, что Вы меня любите. Не верю я только вашей песне, что Вы «стареете». Вы тут же и проговорились, как Вы еще молоды, как в Вас не улеглись многие мечты. Да, я еще не отказываюсь, что когда-нибудь, после долгого сиденья на балконе со мною, мы разыграем сцену из Ромео и Юлии. Дай Бог только нам увидеться. Увидите, что упаду в обморок от волнения, когда опять войду в Ваш уголок и увижу Вас попрежнему председательницею семейного комитета. А вот и Ваши строки, Милый друг Николай Аполлонович: Вы как будто сказали свое коротко, сжато и ясно, да и канули в свою мастерскую. Больше и не надо тут, все. Спасибо Вам за Дружбу и желание возвращения. Я уже возвращаюсь, но возвращусь ли, бог весть! Вы, Аполлон, как ни скверненько написали, а я уразумел Ваше послание, равно как и Ваше, Старик, и твое, милый мой Бурька (да ты, брат, умеешь писать! говори, кто водил тебе руку), и Ваше, Юния Дмитриевна, и Ваше, неизлечимый капитан, — все это я прочитал с таким усердием и радостью, с каким не прочитал бы никакого Гоголя, никакого Пушкина. Я не говорю Бенедиктова потому, что два полученных от него письма, я прочитал тоже с волнением и радостью, как от Вас. Ответать на эти письма через год — бесполезно. Вы конечно уже забыли сами их содержание. Поздравляю только Вас и себя с умножением Майковых. Теперь и моя обязанность у Вас в доме должна увеличиться: играть с детьми, которые будто и мне приходится внуками. Давность службы в Вашей семье дает мне на это право. Ну, теперь опять надоем Вам собою.

Вам конечно через Языкова, Коренева и Бенедиктова, к которым я недавно писал с приехавшим уже в Петербург офицером (Савичем) известно, что с первых чисел прошлого месяца началось обратное мое

шествие в отеческие края. Вот как это уладилось. Когда решено было оставить Палладу в Татарском проливе, адмирал пересел на Диану и взял кое-кого из состоящих при нем лиц с собою. Мне предстояла та же участь, и я напрасно несколько раз намекал, что мне пора домой. Он был глух к этому. Я с благодарностью скажу, что он постоянно оказывал мне особое внимание и уважение, перешедшее под конец в какое-то весьма приятное чувство, и всегда ценил мои труды, конечно выше того, чего они стоили. Он все ожидал, что война с Англией не состоится или внезапно кончится, и что он в состоянии будет оканчивать свои поручения в Японии и Китае в тех же размерах и не торопясь, как начал, при чем ему необходимо будет и секретарь. Но известия о разрыве с Англией были так положительно, что надо было думать о защите фрегата и чести русского флага, следовательно, плавание наше, направленное к мирной и определенной цели, изменялось. Фрегат должен будет крейсировать, может быть драться, и если и зайдет в Японию, то мимоходом и вероятно не надолго. Словом, цель путешествия изменилась, с этим прекратилась и надобность во мне. Может быть, фрегату придется ходить по нейтральным портам или долго простоять в одном из них: во всем этом мне нет никаких занятий, и я понапрасну странствовал бы по морям. Все это дало адмиралу возможность предоставить мне возвратиться через Сибирь в свое министерство, что я и исполняю. Генерал-губернатор Сибири Н. Н. Муравьев¹ был в августе в Татарском проливе и на шкуне Восток возвращался Охотским морем в Аян, оттуда в Иркутск. Я и некоторые, возвращающиеся с Паллады в Россию, офицеры примкнули к нему и шумной толпой высыпали в половине августа на отечественный берег. Едва я ступил на родную почву, как перестал быть путешественником; я вдруг стал проезжим. Ведь в России нет путешественников, все проезжие. И я вдруг почувствовал, как уменьшилось достоинство моего звания, когда мне вручили подорожную по казенной надобности с будущим при мне. А между тем истинное путешествие в старинном трудном смысле, словом подвиг, только с этого времени и начался. Да, Евгения Петровна, Вы в письме своем называете меня героем, но что за геройство совершить прекрасное плавание на большом судне, с роскошными каютами, с кухней, библиотекой и в обществе умных людей, по местам, каких и во сне не увидишь? Нет, вот геройство, проехать 10 500 верст берегом, вдоль целой части света и местами, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, все болота, где нет людей, откуда и звери бегут прочь: страшные пустыни, леса, громады гор, горные потоки, все эти леса, горы и реки без имени, некому назвать их. К сожалению, я в этом подвиге не герой. Я проехал всего 1 200 верст, т. е. десятую часть предстоящего мне пути, и изнемогаю от тоски и нездоровья. В Аяне объявили мне, что вещей с собой много брать нельзя, что вся поклажа везется не на повозках, а на вьючных лошадях, что на каждую лошадь вычат от 3 до 5 пуд. Я подарил все свои книги одному из наших новых поселений в Татарском проливе и роздал на фрегате весь запас манильских сигар. Потом сказали мне, что 200 верст надо ехать верхом, потом 600 в. рекой Майей, потом 180 в. опять верхом, потом уже 200 верст до самого Якутска на телегах и только под самым Якутском, мол, переправитесь через Лену, а там она 9 верст ширины. Все это было бы очень смешно, ежели не было так скучно. Да, Вам смешно, сидя дома, я знаю. Вы уже хохочете, читая это. А мне какво? Двадцать лет я не садился на лошадь, да когда и садился, так всегда чувствовал себя совершенно в ее распоряжении. «А нет ли другого способа езды?» спросил я. «Есть, в качалке, на двух лошадях, одна впереди, другая сзади», говорят мне. «Так вот прекрасно, я поеду». Но мне поворят, что в качалке возят больных старух. И это не поколебало меня, равно как то, что вот такая-то женщина приезжала верхом (сидя по-мужски, дамских седел

нет) и такая-то уехала. Я все-таки заказал Качалку и может быть поехал бы. Но один из приятелей, зная мой характер, ни слова не говоря, в день отъезда велел подать к крыльцу оседланную лошадь. Спрашиваю, где качалка? Говорят, не готова. Я сел на лошадь и поехал и вдруг вспомнил, что я когда-то гонялся за зайцами верхом. Это воспоминание так помогло мне, что я в первый день сделал 30 верст и насилу слез с лошади, а потом уже делал по 40, не сходя с седла, и жалел только, что ночь мешала ехать дальше. Мы все разделились на партии, по два и по три человека. Генерал-губернатор уехал со своими вперед дня за три до нас. Я ехал с двумя офицерами². У нас четыре человека прислуги, у меня повар, он же лакей. Это адмиральский повар, отпущенный со мною домой. Повар этот — немалое утешение для меня, сколько раз, мучимый предвкушением огромного пути, лежал я в дымной, прязной юрте или на лодке, на Майе и постепенно успокаивался, глядя, как этот повар суетится со сковородой около якутского чуваша или около разложенного на носу лодки огня, как успешно поджаривается котлетка или нами же застреленная на реке утка и один раз купленные мною у якута только что убитые рябчики. Мрачные мысли тихохонько исчезали, я на минуту мирился с судьбой и кушал. Зато сколько раз, среди болот, я в отчаянии слезал с лошади, садился или ложился на поваленный пень и почти решал не ехать вперед, а остаться в лесу. На какую гору подымались мы! Еще об ней в Аяне говорили, как об Якутском Монблане, но когда мне показали на нее и сказали, что через нее лежит путь, я рассмеялся и не поверил, а вышла правда: на нее надо было идти пешком, ехать нельзя, лошади без всадников одни насилу всходят, и то кувыркаются в них головой: на вершине ее, на самом крутом месте лежит глыба не растаявшего и никогда не тающего льда. Крутизна самая всего с версту, но за то это совершенная стена, и по ней идут зигзагами. Гора вся состоит из острых неровных больших камней, которые катятся под ногами. Это-то и помогает идти. Зимой ходят в сапогах с подковами, а сани, оленей и пассажиров (прикрепив к санкам) сталкивают с крутизны вниз, потому что съехать нельзя. Гора по-якутски называется Джукджуг, что значит «большая выпуклость». Я нанял двух якутов: одного держал за кушак, и он тащил меня, а другой сзади подталкивал, и то я семь раз садился отдыхать. Кроме того всем путешественникам, виноват, проезжим, якуты раздают по толстой палке. У одного якута, который меня вел, пошла, от напряжения, носом кровь. Это была довольно оригинальная картина, и я, несмотря на усталость, любовался ею, когда все наши лошади числом с вьючными и провожатыми всего 17, изломанной линией потянулись при понудительных криках якутов по горе, спотыкаясь, падая и перевертываясь; камни как будто заговорили, катаясь из-под ног. В разных местах взбирались с трудом, в поте лица, люди. Среди всего этого меня поразило одно явление: Тимофей, мой человек и повар, вижу, с распущенными врозь руками, с растрепанными волосами, стремительно бежит по горе, в перегонку со своей лошадью: она прибавит шагу, он вдвое. «Куда ты, зачем, стой, с ума сошел» — кричат ему. Он махнул рукой и бежит дальше, откуда взялись эти сверхъестественные силы. Никто не мог понять, что это значит. Явление почти фантастическое. Он с лошадью прежде всех вбежал наверх. Я стал его спрашивать о причине. Однажды... в Константинополе... с барином... Одышка не давала ему говорить, мы отложили объяснение до ночлега и, выпив по рюмке уцелевшего портвейна, отправились дальше. Гамбсовским креслом показалось мне седло после этого восхождения, как покойно и торжественно ехал я остальные 25 верст. В юрте Тимофей объяснил мне, что «однажды в Турции с барином он ехал из Буюкдере в Константинополь верхом, и слезли на минуту с лошади (зачем, не объяснил), нечаянно выпустил уздечку из рук, лошадь убежала, и он прошел 15 верст пешком». — «Ну, так чтож». — «Так я

боялся и теперь лошадь уйдет вперед одна, а я останусь». С одним из моих спутников, именно с князем Оболенским приехал из деревни, кругом Америки, на Диане, его кучер. Тот тешил меня еще больше Тимофея своим воззрением на виденные им страны, Сандвичевские острова, Апаразию—Вальпарайзо etc., его обращение с змеиными шкурами, разными редкостями, взятыми князем, и между прочим камнями с разных гор. Он просил сделать божескую милость позволить выбросить камни, говоря, что белья и других хороших вещей некуда деть, а тут каменя вози, а уже ежели возить каменя, так просил взять один камень для точила, который увидал где-то в Бразилии. Между тем сам юн, тихонько от барина, запрягал еще на Сандвичевых островах в чемодан несколько кокосовых орехов. «Зачем ты набрал



МАНИЛА

Улица в местном поселке
Современная гравюра

этого?» спросил князь, «разве не наелся там, нравится тебе, что ли это?»— «Нет. Это все пустое», с презрением отвечал Иван относительно вкуса кокоса и вообще всех тропических плодов: «а я видел в Москве в одной лавке, как барин какой-то купил по 5 целковых за штуку, так вот хорошо бы привести». Когда наконец он добрался до седла, то весело рассмеялся: «любезное дело—верхом ехать», воскликнул он, и горе ему не горе, качка не качка.

Меня болота доехали. Лошадь уходит по брюхо, а иногда не в силах вытянуть ног, дергает, дергает то той, то другой ногой и ляжет на бок. Если болото слишком глубоко, тогда пускались в объезд, целиком по лесу сквозь сучья через наваленные грудой пни, чрез ямы, так что и умная, осторожная якутская лошадь задумывалась и не шла. А сколько горных речек переехали в брод: они все необыкновенно быстрые, и дно усеяно мелкими камнями. Лошадь выходит на противоположный берег гораздо выше того места, где вошла в реку, так сильно течение. Частенько ноги седока почти что по колено уходят в воду. Все бы это ничего. Но настали утренние легкие морозы, и у меня зябли немного ноги, зябли и у других, но потом согрелись, и все прошло, а у меня стали гореть и теперь пух-

нут. Я, кажется, приобрел ревматизм. В лодке ногам было еще холоднее, и когда я в 18-й день дотащился до Якутска, зуд и жар в ногах усилились, и я не знаю, как я пушущу по Лене. А по ней до Иркутска около 3 000 верст. Ездить в почтовых лодках, но скоро пойдет лед, тогда пришлось бы ехать берегом и опять верхом: другого способа ездить по берегу нет. А не ехать берегом, так надо ждать здесь, пока Лена установится, что случится в конце октября или в первых числах ноября. Это ужасно, это двухмесячная ссылка. Товарищи мои все уехали, я остался один. Сегодня был у меня доктор и прописал спирт, не знаю, что будет. Губернатор К. Н. Григорьев³ и преосвященный Иннокентий⁴, здешний архиепископ, и другие тоже уговаривают остаться и подождать зимнего пути, говоря, что если я пушущу теперь, то все-таки должен буду остановиться, когда лед пойдет, где-нибудь на подороге и ждать зимы на скверной станции. Не знаю, я еще ни на что не решился. Живу на квартире, где имею и стол. Здесь даже нет и трактира. Столица Якутская так жалка и бедна, что больно смотреть. Сотни три-четыре чуть живых деревянных домов, один только каменный, да 6 церквей, вот и все. Общество состоит из нескольких чиновников, почти бессемейных, следов женского общества нет. Я не называю женщинами якуток: это коровы на задних ногах. Две из них приходили ко мне продавать будто вещи из мамонтовой кости, но это только был предлог, а собственно они умышляли против моей добродетели, но нашли во мне, как Вы конечно и ожидаете, прекрасного Иосифа да еще с хлыстом и тростью к их услугам. Но пора спать, дня через два припишу еще. Если останусь здесь до зимы и не съест меня хандра и ревматизм, то надеюсь привести в порядок хоть часть путевых своих заметок. Да еще прежде надо решить, годятся ли они, можно ли хоть что-нибудь извлечь из них. Перечитывая это письмо, я в одном месте наткнулся на выражение: «уцелевшего вина»: это вот что значит. Люди наши, числом четверо, на второй или третьей станции от Джукджура донесли нам, что весь запас наш вина и водки утал, якобы, с опрокинувшейся лошадей на поре и разбился о камень; а остались-де всего две бутылки портвейна. Так мы до самого Якутска и странствовали весьма патриархально, т. е. трезво. На всем этом пространстве нельзя достать не только вина, даже хлеба; пустыня впереди, пустыня сзади, и по сторонам тоже; с одной, до китайских границ, с другой, до Ледовитого моря. Везде рассеяны юрты Якутов да изредка встретились кочевья оленьих тунгусов. В двух впрочем слободах русских переселенцев по Майе можно найти хлеб, мясо, а по станкам (станциям) и овощи.

Я не жаловался на пролитие вина на горе потому, что редко так бывал здоров желудком, как тут без вина. Худо то, что люди наши, из которых каждый, будучи взят отдельно, препорядочный малый, а вместе все они образовали быстро лакейскую, со всеми ее гнусностями, не исключая и запаха. Лень, сон, вялость и прожорливость не знали границ. Когда надо, их не докличешься, когда не надо, они стоят и слушают, разиня рот, не касающийся до них разговор, быстро уничтожают целые головы сахара и проливают по горам вино. Но вот мы расстались; товарищи мои едут по Лене на лодках, наслаждаясь покойной прогулкой по такой погоде, какая, говорят, никогда не бывает в Якутске; особенно в сентябре. Теперь будто май. Обыкновенное благообразие воздуха здесь от 30 до 40° мороза, губернатор сказывал, что доходило в прошлом до 48°. Я сомневаюсь в возможности одолеть этот путь, боясь, чтобы со мной не случилось чего-нибудь серьезно-неприятного. На огромном протяжении на 3 000 верст от Якутска до Иркутска есть всего два городишка Олекма и Киренск, т. е. куча лачуг, где можно достать хлеба, а то все надо брать с собой. Наконец, пусть одолею я и этот путь, подумайте, что от Иркутска до вас еще 6 000 верст. Ну, скажите на милость: что значит в сравнении с такими пространствами и переездами по ним похождения

древних, хотя бы самих изральтян или рыцарей в Палестину и т. п.? А мы немели от ужаса и удивления, читая их! Когда я буду в Казани, в Симбирске, в Москве, в Петербурге и буду ли еще? Морем было ближе до всего этого. Пока до свидания: еду с визитами и между прочим надо хлопотать о кухлянке, дохе, торбасах и малахае. Кухлянка — это рубашка по покрою, из оленьей шерсти, доха козья шкура, вместо шубы; торбасы — меховые сапоги, из которых в каждый можно спрятать Вас, Катерина Павловна, и с маленькой Евгенией; малахай — шапка. Мне уже принесли медвежьих шкур, без которых нельзя и выехать. Их подстилают под себя, ими покрываются. Я наслаждался поэзией жаркого пояса не только благополучно, даже счастливо: каково перенесу полярную поэзию. Я лоблю все подбирать ключ к близким мне событиям и никак не приберу его вот к этому, т. е. не могу решить, зачем это пало на мою долю выпить эти две чаши, горячую и холодную, и что толку от этого опыта, как мне самому, так и другим. А все Вы, хрупкий и нежный друг, Евгения Петровна, наделали! Не правда ли, Николай Аполлонович; без Евгения Петровны ведь я бы сидел теперь покойно и нянчил наших внучат? Едучи верхом, я между прочим из толпы одолевших меня воспоминаний остановился с особенным удовольствием на одном, именно, как Василий Петрович и Любовь Ивановна⁵ собирались в Чернигове, как об этом говорено было целую зиму, как Вас. Петр. заказал целый ковчег и ежедневно ездил смотреть, прочен ли он, поместителен, как купил себе несессер с ящиками, баночками, графинчиками — и как они недели две, при всем желании, пытались выехать и насилу выехали, все это, чтобы сделать тысячу верст. Я вспомнил все это и препромко засмеялся в лесу. Припомните это им и поклонитесь от меня душевно. Если Анна Васильевна⁶ не вышла еще замуж, так попросите погодить: скоро, мол, будет. У меня всего три седых волоса, а впрочем я стал красивее, т. е. потолще. Весь и всегда Ваш

И. Гончар[ов]

Вы, Аполлон Николаевич, пишете, что Анна Ивановна писала ко мне вместе с Вами, через Америку. Да я все те письма уже получил и Вы конечно получили уже мои ответы. Если мало Вам нынешнего моего письма, то не отчаивайтесь, я прибавлю к нему еще, потому что почта идет через две недели. Поручаю Вам изъяснить Анне Ивановне какую-нибудь нежность за меня, а Старику Старушке. Узнайте, получили ли мои письма Языковы, Корнев, Бенедиктов и маленькую записочку Никитенко. Кланяйтесь Андрею Александр. и скажите ему, что я часто о нем думаю и забочусь. Степану Семеновичу и Яновскому тоже и другим равномерно.

P. S. Краевскому не кланяйтесь, я сам напишу к нему. Что это значит, что мне никто не скажет о Вагонщине? О нем, кажется, как будто о бежавшей из родительского дома с любовником дочери, стараются не говорить в огорченном семействе. Ужели это так? да что же он делает? Играет на бильярде, теперь уже почти как я? или в карты в клубе? Потом еще что?

Вам, милый Лховский, жму руку: не сетую, не знаю, отчего, что Вы не написали, хотя бы Вы мне сделали этим бездну удовольствия. Будете ли Вы, при свидании, тем же милым Лховским ко мне, каким были, скажите хоть это.

Писать ко мне больше не следует, потому что и сам не знаю, когда я буду.

Вам, милый Капитан, угрожаю своим приездом. Если письма мои Вам покажутся коротки, так сделайте для меня собственно вечер (с кулебякой из осетрины), а я Вас угощу повестями, которые будут подлиннее Ваших Чатардагских и Лопухинских рассказов⁶.

¹ Муравьев (Амурский), Н. Н., генер.-губернатор Восточной Сибири, в 1854 г. совершивший первое плавание по Амуру и тем положивший начало освоению русскими Приамурья.

² «Два офицера», по высадке со шхуны «Восток» в Аяне путешественники разбили на три партии. Первым уехал Муравьев со своей свитой; вслед за ним поскакали курьеры Путятина—лейтенанты б. Криднер и Савич. Третью партию составили: Н. А. Гончаров, К. В. Оболенский—мичман с «Дианы» и лейтенант Тихменев, П. А., бывший заведывающий кают-компания на «Палладе» (П. А.), «Л. Т.», «П. А. Т.» — «Очерков»).

³ Григорьев, Конст. Никиф., с 1850—1856 г. якутский губернатор. Письмо к нему Гончарова опубликовано в брошюре А. Мазона «Материалы для биографии И. А. Гончарова». СПб, 1912. 25—28.

⁴ Иннокентий Вениаминов (1797—1879), с 1850—1868 г. архиепископ камчатский, миссионер, автор ряда ученых работ, особенно по языкам северо-восточных азиатских племен.

⁵ Василий Петрович, Любовь Ивановна, Анна Васильевна остались нам неизвестны: возможно, что это родственники Евгении Петровны Майковой.

⁶ О Чатардагских и Лопухинских рассказах «Капитана» нам не удалось найти никаких сведений в бумагах Майковых.

26. Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ ¹

Якутск, сентябрь 1854 года

Прекрасный друг мой, Юния Дмитриевна. Писанное Вами за год и, конечно, уже забытое письмо я получил с Дианой и обрадовался ему, как голосу сестры и друга. Нужды нет, что Вы прочтете большое письмо к Майковым. Прочтите, это собственно к Вам. Мне так приятно вызвать мысленно Вас издалека сюда, в чужой и пустынный Якутск, посадить Вас вот хоть на медвежью шкуру и не наглядеться. Ведь это может быть, душа моя, право любовь! Я даже чувствую сладкий трепет, воображая как бы крепко я с Вами поздоровался, или это, может быть, так после бани мне кажется. Что бы там ни было, но если мне предстоит пробыть здесь ужасных полтора-два месяца, это может свести с ума и не такую нетерпеливую голову, какова моя. Я только одну отраду и вижу в моем заточении: это надеяться на свидание с друзьями, и в этой надежде время от времени писать к ним, воображать их здесь, говорить с ними, как я делаю теперь и делал вчера с Майковыми. Даже некоторые из здешних жителей как будто из жалости советуют мне уезжать скорее. Только архиерей да губернатор ² желают, чтобы я остался, и некоторые другие, из эгоизма, как они говорят. Это очень лестно, но еще более скучно. Н. Н. Муравьев (генерал-губернатор В. Сибири) был тоже как нельзя более любезен. Звал в Иркутск дожидаться там зимы. Вот в этом приглашении больше заманчивого: там большое и порядочное общество, разнообразие в людях, жизненные удобства, наконец, женщины, которых я так давно не видел, по крайней мере русских. Все-таки то — столица Сибири, а здесь, боже мой, деревня с претензиями быть городом. Что это судьба делает со мной: куда забросило меня? Ужели мало показалось ей моего скитания по океанам, по зною, по диким и пустым берегам, по негостеприимным странам, как Япония и Китай, наконец по Сибирским тундрам. Надо, видно, истомиться и истощиться мне до конца и нравственно, как истомился я материально, и приехать к Вам хуже и старше всякой затасканной тряпки. Зачем это? Чтобы умереть? Но это можно было бы сделать проще и короче. Чтобы лучше жить? Но после такой ломки трудно жить. Мне уж и не желается как-то ничего и не снится надежд никаких, и вял я сделался, а ведь, если жить, так надо работать, хоть для пропитания. Но что это я, чем занимаю Вас: ропотом? Прочь эти мрачные мысли, передо мной теперь Вы, с ясным взглядом и дружеской улыбкой. Не до тоски мне. Она временно только набегает на меня шквалами. (Простите моряку за выражение.)

Если б я отдался ей совсем, то был бы недостоен.. хоть дружбы такой милой женщины, как Вы. В письме к Майковым Вы прочтете, что у меня сделалась опухоль в ногах. Еще не знаю, что это такое. Был доктор, но и тот еще ничего не решил, а между тем завтра же надо уезжать или ждать здесь зимы. Как я поеду: если случится подобное в дороге, то можно умереть, не имея пособий. До Иркутска 3 000 верст, и только два городенка и то зауряд.

Прощайте или досвиданья, как богу угодно. Поклонитесь хорошенько Александру Пав. да поцелуйте Феню. Попеняйте на досуге Льховскому, что он меня забыл. Теперь уж не пишите ко мне, бесполезно. Если я пробуду и два месяца здесь, все-таки письмо не успеет оборотиться, разве, что я останусь здесь до весны: или целую вечность, что все равно, и от чего боже храни.

Весь Ваш

Гончаров

¹ Впервые опубликовано Б. Л. Модзалевским, «Невский Альманах», в. II. П. 1917, стр. 12—13.

² Архиерей — Иннокентий; губернатор — К. Н. Григорьев — См. прим. к предыдущ. письму.

27. Е. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ

19 января 1855. Иркутск

Как это случилось, что я сегодня получил Ваши письма, из которых одно и то же писано от января 1853 года и сентября 1854 и адресовано и в Иркутск и в Японию. Как ни приятно получить такое письмо, но все-таки странно.

Я так живо сочувствую тому, что движет Вас и всю Русь в настоящее время, что прощаю Вам, друг мой Евгения Петровна, письмо Ваше, наполненное политическими новостями. Я иначе не надеюсь увидеть Вас по приезде в Петербург, как с пикой в руках, в чепце немного на сторону, как Вы спешите на дрянном извозчике, но по таксе, мимо гостиного двора, не удостоив взгляда даже голландские лавки прямо на английскую набережную стражать нападение союзников. Вам, милый мой Аполлон, сочувствую и делом: в Якутске прочитал я Ваш фельетон в СПб ведомостях 11 августа 1854 года № 176 и тотчас же отбросил путевые записки, которыми тогда занимался и написал статью Якутск, в которой фактами подтверждаю



МАНИЛА
Петушиные бои
Современная гравюра

Вашу мысль о том, как Россия подвластным ей народам открывает обширное поприще деятельности и разумного приложения сил¹.

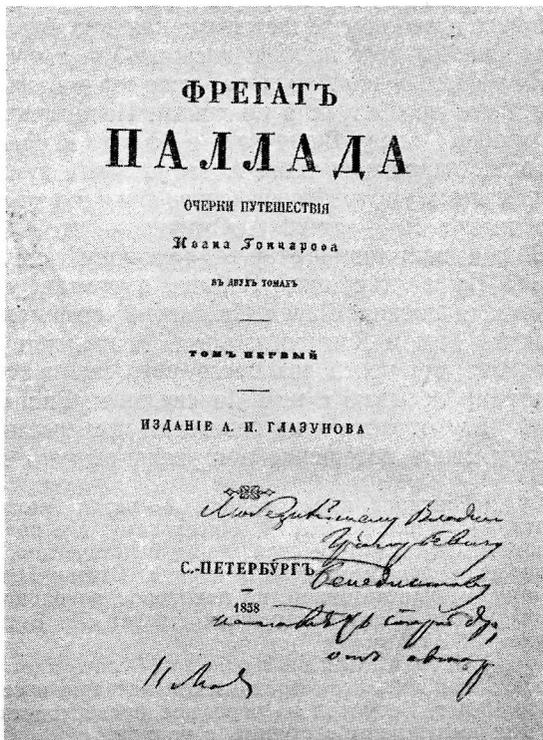
При свидании все это, бог даст, прочтем и переговорим. При свидании — легко сказать! Я проехал четыре тысячи верст, остается еще шесть тысяч. Это не поездка, потому что слишком продолжительно, не путешествие, потому что не занимательно, это жизнь своего рода, или лучше сказать пародия на жизнь, потому что очень противоречит недостаткам главных условий жизни, понятно, которое мы составляем о ней. Все это впрочем касается не городов, а здешних пустынь, разделяющих эти города. В городах очень хорошо, здесь, например, даже в Якутске не худо. В пустынях раздается сильное эхо от патриотических кликов нашей народной массы, очень сильно, как всегда бывает в пустынях. Здесь есть величавые, колоссальные патриоты. В Якутске, например, преосвященный Иннокентий: как бы хотелось мне познакомить Вас с ним. Тут бы увидели русский черты лица, русский склад ума и русскую коренную, но живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а все потому, что кончил учение не в Академии, а в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии и жизни Алеутов, Колош, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот. Мы с ним читывали газеты, и он трепещет, как юноша, при каждой счастливой вести о наших победах. Другой патриот, человек бодрый, энергичный, умный до тонкости и самый любезный из русских людей — это Николай Николаевич Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири. Имя его довольно популярно у нас: все знают, как сильно и умно распоряжается он в Сибири, не секрет уже и то, что он возвратил России огромный и плодоносный лоскут Сибири по реку Амур включительно, вопреки Министерству Иностранных Дел, действуя под непосредственным надзором и полномочием царя, при множестве врагов, доносов и прочее. Молодец! И хозяин он славный, принимает гостей радушно, как русский, и вежливо, как европеец вообще. Я теперь у него в гостях т. е. ежедневно у него обедаю, за неимением приглашений в дружине дома. Знаете ли, что камчатская победа² была плодом его распоряжений. Мы плыли в Татарском проливе на шкуне в Аян, «А что, если англичане придут в Камчатку?» — спросил я. «А пусть придут, отвечал он: теперь там 70 пушек, и я послал туда 300 человек казаков: пусть придут». «Какой чудак, подумал я; что он сделает 70 пушками, когда на каждом военном судне около 50 пушек и до 400 человек!» А вот он предсказал успех, стало быть был уверен. Но это еще ничего, что он патриот, иначе и быть не может и не должно. А вот жена его, француженка, парижанка та говорит о русских, мы т. е. nous а о французах eux, ils и с радостью предсказывает, что nous поколотим eux везде и всегда. Она любит не только Россию и русских, но Сибирь и Камчатку, куда ездила с мужем и верхом по горам и болотам и морем и в мае собирается в те места вторично по Амуру на барке.

Вчера она сказала, что велела мне сварить и заморозить в куски на дорогу чи, т. е. ши, и напечь кренделей. Когда французы что соврут в газетах, она называет их lâches.

Я могу выехать через два дня, 15-го числа. Николай Николаевич удерживает меня до 19-го до великолепного бала, который он дает, но когда сочли время, то увидели, что мне надо приехать в Петербург к 25-му февраля. Скакать слямя голову, я не могу: если я три дня еду день и ночь, на четвертые сутки надо остановиться, а то делаются приливы к голове, геморроидальные припадки и несварение желудка, обнаруживающиеся рвотой.

Если Бенедиктов получил уже мое письмо, то Вы должны получить

ЭКЗЕМПЛЯР
«ФРЕГАТА ПАЛЛАДЫ»
И. А. ГОНЧАРОВА
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
В. Г. БЕНЕДИКТОВУ
Частное собрание, Москва



огромных два письма через контору Языкова, на его имя, с передачей Вам. В одном письме — морскую идиллию, ловлю акулы, отрывок из своих записок для напечатания в Отечественных Записках (только там) в смеси, но без имени моего (непременно). А другое письмо — так себе, письмо, оба писаны из Якутска. Извините, Аполлон, что не пишу особо ответа на Ваше чудесное письмо с чудесными стихами (философической свободы Вам было мало, господа, и т. д.). Некогда и потом повторяю Ваши же слова: «надеюсь скоро возвратиться» и писать больше не хочется, я уж Вам, и родным своим, из Якутска запрещал накрепко писать, да вот не уймешь. Когда сам-то уймусь — не знаю. Видно, и впрямь людям при рождении назначены роли: мне вот хлеба не надо, лишь бы писать, что бы ни было, все равно, повести ли, письма, но когда сижу в своей комнате за пером, так только тогда мне и хорошо. Это впрочем не относится ни к деловым бумагам, ни к стихам, первых не люблю, вторых не умею. Поцелуйте за меня и от меня милую Анну Ивановну и неизвестного или неизвестных мне будущих моих друзей, маленьких Майковых. Вы пригласаете остановиться пока у себя — ни за что: уж это один из моих обычаев, которых я, вы знаете, не изменяю. А поближе квартиру нанять — оно бы, пожалуй, хорошо, если бы не было Литейной: я не умею себе представить, как жить в Петербурге не на Литейной! — Вы пишете, что chinoiserie в большой моде и что продаются разные фигурки рублей по 50: если я с сундуком как-нибудь доберусь до Петербурга, то эдак, пожалуй, у меня и на тысячу рублей наберется, болванчиков и вазочек штук до 30 наберется да рисунков, да резных четок из бамбука и орехов, это все куплено мною самим в Шанхае. Если выйдет выгодная спекуляция, так ни Евгения Петровна, ни Катерина Алекс., ни Юнинька (которую нежно целую) не увидят ни сия пороха. Лишь бы мне доехать только. Ах дай-то бог поскорее!

Вы, друг мой Николай Аполлонович, написали всего две строки на полях и то успели нагадить: как это Вы сделали, что у Вас чернила и на хорошей бумаге прошли насквозь? А ты, Бурька, что так мерзко написал? Не только хуже Аполлона, даже хуже отца? Что Марья Федоровна смотрит, от чего не бьет тебя по рукам. Посмотрите-ка, как нацарапал: я только и разобрал жду Вашего возвращения. Вот погоди, я ворочусь, да того... палочками тебя. А ты уж, чай, думаешь, что ты студент, поди беспрестанно употребляешь слово личность да тип, а может чего доброго и водку? Я — тебя! А Старик — что? Старик самозванец, фальшивый! Вот я настоящий старик, признаки ясные: болтлив и не хочу умереть. Что Ваша старушка? Забыла, я думаю, меня: ведь она была еще дитя, когда я поехал. Павел Ст., верно, помнит. А Юненька, а Льховский? Клянюсь Вам и Языковым тоже. А капитан где?³ Сражается что ли? Почта пойдет дня через два после меня, но приедет, я думаю, месяцем раньше и потому посылаю с ней. До свидания. Ваш И. Гончар[ов].

Еду отчасти и не без тоски при мысли, что надо приниматься опять за ежедневное посещение в службу, от чего я на корабле отвык.

¹ Гончаров имеет в виду фельетон Аполлона Николаевича Майкова в виде открытого письма к А. Ф. Писемскому, где поэт, под влиянием событий Крымской войны, формулирует свои националистические, шовинистические взгляды на исторические судьбы русского народа. Статья Гончарова «Якутск» осталась, повидному, не напечатанной, но некоторое довольно умеренное отражение эти настроения нашли в его позднейшей статье: «По Восточной Сибири» («Русское Обозрение» 1891 г., кн. 1).

² «Камчатская победа» — речь идет о знаменитом отражении нападения очень сильной англо-французской эскадры и ее десанта от Петропавловска в августе 1854 г. Несмотря на огромное превосходство в артиллерии и людях, союзники были вынуждены отступить с уроном.

³ О лицах, которым передаются поклоны и приветствия см. в прим. к г. №№ 1, 3, 4.

28. А. А. КРАЕВСКОМУ ¹

Якутск, сентябрь 1854 года

Любезнейший и почтеннейший Андрей Александрович. По настоящему мне бы не следовало писать туда, куда еду сам, а скорее писать назад, где был, в Китай или Индию, но возвращение мое во-своися, ко всему ответственному, между прочим и к запискам, совершается с медленностью, истинно одиссеевской, и между началом и концом этого возвращения лежит треть года, две трети полушария и половина царства. Стало быт написать можно тем более из Якутска, откуда Вы едва ли от кого-нибудь и когда-нибудь получали письма. Медленность странствия моего происходит: частью и от употребительного здесь и тоже достойного гомеровской эпохи способа езды, то верхом, то на лодке, а инде пешком, где нет ни земли, ни воды под ногами, а есть своего рода пятая стихия, тундра, т. е. мох, прикрывающий тину, воду, переплетшиеся корни деревьев и еще многое другое, о чем может быть и не презилось нашим «геологам», частью же от опухоли в ногах, приобретенной мной не то в лодке, не то на лошади, среди болот, при легких утренних морозах, которые так полезны для рябины и других плодов здешнего климата и совсем бесполезны для ног. Все эти обстоятельства заставляют меня пробыть в столице Якутского царства долее, нежели нужно вообще и нежели я желал в особенности. Если опухоль скоро не опадет, то, пожалуй, придется сидеть у берега и ждать буквально погоды зимней, когда станет Лена, а это может случиться месяца через полтора. Берегом или, как здесь говорят, горой, можно ехать только все-таки верхом, другого способа нет, и не при одних только утренних морозцах. От нечего делать я осматривал здешнюю столицу, в ней много замечательного, есть и древности, например, остатки деревянной крепостной стены с башнями и гостиный двор. Крепость построена казаками за 200 лет для

защиты от набегов якутов, которых казаки сами же и притесняли. Твердыня очень тверда, топор не берет дерева, отчего оно и предпочитается здешними мещанами при постройке домов всякому новому еловому и сосновому дереву, за которым еще надо ездить в лес, тогда как это лежит готовое на площади. Губернатор² велел однако огородить эту древность забором, не против набегов мещан и не из антикварных побуждений, а потому что стены и башни клонятся все на сторону, между тем якутки ходят садиться в тень ее, за тем ли, чтобы оплакивать свой Иерихон или с другой более практической целью, это я в своих ученых исследованиях добиться не мог. Гостиный двор, — здание величественное, облезлое, выцветшее, заплеванное, засморканное и зачиханное, что все придает ему зеленовато-античный вид. Его засморкало время, больше некому, купцов нет, они все сидят дома, и лавки отпираются, когда являются покупатели. Затем следуют допотопные древности, гребни и коробочки из мамонтовой кости, с древними надписями на русском языке, видимыми еще и поныне на фарфоровых чашках «в знак любви» и т. п. Гребня я себе не купил: плохо сделаны, не расчешешь волос! Есть еще здесь шесть церквей и сотни три-четыре домов, все деревянные, кроме одного, и все похожие на дом Бабы-Яги, не исключая и губернаторского. Вот и Якутск. Лена, говорят, прекрасна и широка, даже, говорят, я живу на самом берегу. Не знаю: может быть: я ее не видал, хотя даже переправился через нее. Я вижу из окошек огромные луга, пески, болота и озера, но под этим всем мне велят разуместь Лену. Путешествие мое по Якутской области, т. е. от Охотского моря до сих древних стен, представило мне несколько замечательных фактов. Майковы, если при свидании спросите их, подробнее расскажут обо всем, между прочим и о том, как, вступив на наши берега, я из путешественника вдруг обратился только в проезжего, потом, как мы (с товарищи) втроем совершили этот переезд с патриархальной трезвостью, достойной самого патера Mathew по милости наших слуг, которые пролили весь запас господского вина и водки на Джукджуре, Якутском Монблане, а достать его было нельзя, и от Аяна до Якутска пьяных — хоть шаром покати, не встретишь ни одного; как далее, вязли в болотах, карабкались над пропастями, терялись в лесах и т. д. Всего замечательнее мне показалось, что здесь Якуты не учатся по-русски, а русские по-якутски говорят до невозможной степени. В одной юрте вижу хорошенькую беленькую девочку лет 11-ти, у которой скулы не похожи на оглобли и нет медвежьей шерсти на голове, вместо волос, словом русскую. Спрашиваю, как ее зовут: «Она не говорит по-русски», отвечает Егор Петров Бушков, мещанин, содержатель почтовых лошадей, ее отец. — «Что так? Мать у ней якутка?» — «Никак нет: русская». «От чего ж она не говорит по-русски?». Молчание. Далее Егор Петрович, везя меня, встретил в одной слободе с лица русского человека и заговорил с ним по-якутски. «Кто это?» — спросил я. — «Брат мой.» — «Да он говорит по-русски?» — «Как же, он природный русский!» — «Зачем же вы говорите по-якутски?» Молчание. И всю дорогу везде подобные случаи. Станционные смотрители, все русские, говорят с ямщиками по-якутски. Мало того; на одной станции съехался я с двумя чиновниками, такими же, как и мы все, в виц-мундирах. Мы разменялись поклонами и молча глядели друг на друга. Один из них обратился к ямщикам и на чистейшем якутском диалекте отдал приказание, за ним другой тоже. Я так и ждал, что вдруг они спросят меня: «parlez vous jacoute?» и чувствовал, что, краснея от смущения, ответил бы, как бывало в детстве: «non, monsieur, je ne sais pas», когда спрашивали «parlez vous français?». Здесь есть целая русская слобода, Амгинская, на реке Амге, где почти ни один русский не говорит, т. е. не знает по-русски, и все по-якутски. Чего! Недавно только дамы в Якутске, жены и дочери чиновников, перестали в

публичных собраниях говорить этим языком. Вы, может быть, подумаете, что все это так, анекдоты, литературный прием à la Dumas?

Клянусь Вашей сединой, все правда. Последний случай я почерпнул из верных рук. Не только язык, даже начали перенимать обычай у якутов, отдавали детей на воспитание к якуткам, которые прививали им свои нравы и многое другое, между прочим сифилис. Но теперь зло остановлено.

Вы конечно спросите, что я делаю. Да теперь пока вот что: вчера и сегодня, например, лежу, а не сижу, как Манилов на балконе, лежу в полумраке, ноги натерты спиртом и зудят до смерти. У меня нет желаний ни ехать вперед 9 800 верст, ни назад 20 000 миль, опять по морям. Закроешь глаза, мерещится крупная надпись: Очерк Истории Якутской области. Исторический опыт в 2-х частях И. Г. с приложением, картами, литографическими снимками замечательнейших рукописей, хранящихся в Якутском архиве 1855 г. СПб, в типографии Э. Праца; цена 5 руб. сер. Ведь завлекательно! В перспективе рисуется академический венок, Демидовская премия, потом отличный разбор Дудышкина в Отечественных Записках, где я поместил прежде большой отрывок и взял с Вас неимоверное количество денег. Я уж говорил с преосв. Иннокентием³ и думал, не шутя, выманить что-нибудь для Вас, но он человек такого, как говорит немецкий булочник Каратыгин, здорового ума, что у него не выманишь. Сам он, как видно, трудится и над историей и над языком якутов, но если будет издавать, то осторожно, «потому что я в этом случае буду единственным авторитетом — говорит его преосвещенство — которому конечно поверят, следовательно надо говорить верно, а верного мало». Есть еще любитель древностей, купец Москвин, с которым увижусь. Ну, как они да на беду мою дадут мне сведения, источники: что я стану с ними делать? Хуже чем Манилов с своим мостом. Я целиком отошло и отвезу к Вам, а Вы делаете что хотите. Иногда я просматриваю свои путевые тетради — какая нагая пустота! Никакой учености, нет даже статистических данных, цифр, ничего. Ну, как пошлешь что-нибудь к Вам, и что? Вот на выдержку вынул Шанхай, нет, нельзя: тут много ипотез чересчур смелых, надо свериться с какими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже о. Иоакима⁴, а уж он ли не весело пишет! Сингапур, тут много восторгов: не по летам. Ищу Мадеры (острова), но напрасно шарю рукой, я вспомнил, что она еще в проекте, как очерк истории Якутской области; Мыс Д[оброй] Надежды — это целая книга, с претензиями на исторический взгляд; надо выкрасить кое-каких данных из других путешествий; Анжер на Яве — годится, да всего три страницы. Манила... вот Манилу бы хорошо, она готова почти, да того, не переписана, а здесь писарей не видать, да и кто пойдет сюда в писаря, когда вина так мало, а как и есть, так-то проливается на горах? Вот к Майковым, если не поленюсь, так выпишу страницы две о том, как мы изловили акулу, единственно потому, что они рыболовы. Если эта страница будет годиться в печать, то тисните ее, пожалуй — куда-нибудь подальше в смесь, где тискаются разные подобного рода анекдоты из иностранных журналов, но только без подписи имени, *conditio sine qua non*.

Совестно, слишком ничтожно, да и в смеси под статьями не подписываются. О помещении же чего-нибудь побольше в Отечественных Записках из моих записок мы потолкуем при свидании, если только пожелаете Вы. Благодарю Вас за присылку выканюченного у Вас Языковым экземпляра Отечественных Записок, но я их, вместе с своими книгами, отдал одному из наших новых поселений в Татарск[ом] проливе, где еще нет никаких записок. Приношение принято с благодарностию.

Будьте здоров и не забудьте искренно преданного

Гончарова

С. С. Дудышкину⁵ зело кланяюсь: не пишу потому, что полагаю, когда он будет у Вас, Вы дадите ему прочесть это письмо, из которого он и узрит, что я, где и как. Домашним Вашим т. е. Елизавете Яков[левне]⁶ мое почтение, чадам тоже; на них советую положить метки, как на белье, чтоб гости, в том числе и я, могли узнать который Евгений, который Александр. Если у Вас попрежнему бывают Заблочкие, Милютины, Арапетов, Никитенко⁷, всем им при случае прошу напомнить обо мне и кланяться. Если увидите с кн. Одоевским и ему, подвернется Соллогуб, и тому поклонитесь, наконец, даже и Алексею Гр. Теплякову. Уж если будете кланяться Теплякову, так почему же не поклониться и Элькану.

¹ Опубликовано впервые А. Мазоном.

² Губернатор—Григорьев К. Н., см. прим. к п. № 25.

³ Иннокентий, архиепископ Камчатский, см. прим. к п. № 25.

⁴ О. И о а к и н ф Бичурин (1777—1853), известный русский синолог. Гончаров имеет в виду вероятно его «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена».

⁵ Дудышкин, С. С.—критик, постоянный сотрудник «Отеч. Записок».

⁶ Елизавета Яковлевна—сестра Авдотьи Яковлевны Панаевой.

⁷ Заблочкий, Мих. Парф., Милютины: 1) Дмитрий Алексеевич Милютин (1816—1912), знаменитый деятель эпохи реформ, преобразователь русской армии, 2) Николай Алексеевич (1818—1872), один из главных деятелей по освобождению крестьян; Арапетов, Ив. Павл. (1811—1887), государственный деятель, член редакционной комиссии по крестьянск. делу (1859), сотрудник «Отеч. Записок»; Никитенко, А. В.—см. прим. к п. № 3.

29. И. И. ЛЬХОВСКОМУ¹

2/14 апреля, 1859

Милый, милый друг Иван Иванович! Неделю тому назад мы были обрадованы получением Ваших писем. Я понес свое к старику и старушке, а они приготовили мне тот же сюрприз. Я думал, что я уж вовсе неспо-



КАРИКАТУРА НА И. А. ГОНЧАРОВА
КАК АВТОРА «ФРЕГАТА ПАЛЛАДЫ»

Институт Русской Литературы,
Ленинград

бен к поэзии воспоминаний, а между тем одно имя Стелленбош расшевелило во мне так много приятного: я как будто вижу неизмеримую улицу, обсаженную деревьями, упирающуюся в церковь, вижу за ней живописную гору и голландское семейство, приотившее нас, все, все. Точно также известие о смерти Каролины произвело кратковременное чувство тупой и бесплодной тоски. Восхождение Ваше на Столовую гору — подвиг, на который я никогда бы не отважился. Не знаю, почему, но мне невозможно приятно знать, что Вы может быть увидите еще места, которые видел и я. Меня даже пленяет разница во взгляде Вашем и моем: Вы смотрите умно и самостоятельно, не увлекаясь, не ставя себе в обязанность подводить свое впечатление под готовые и воспетые красоты. Это мне очень нравится: хорошо, если бы Вы провели этот тон в Ваших записках и осветили все взглядом простого, не настроенного на известный лад ума и воображенья, и если бы еще вдобавок уловили и постарались свести все виденное Вами в один образ и одно понятие, такой образ и понятие, которое приближалось бы более или менее к общему воззрению, так, чтобы каждый, иной много, другой мало, узнавал в Вашем наблюдении нечто знакомое. Это значит взглянуть прямо, верно и тонко и не заразиться ни фанфаронством, ни насильственными восторгами; именно, как Вы в немногих словах отозвались о Бразилии и мысе Доброй Надежды. Между прочим этот тон отнюдь не исключает возможности выражать и горячие впечатления и останавливаться над избранной, не опошленной красотой. Если я не сделал ничего этого, так это отчасти потому, что я по своему настроению только и мог действовать на читателя, потому что в языке и красках я сильнее, нежели другим путем. А у Вас настоящий взгляд, приправленный юмором, умным и умеренным поклонением красоте и тонкая и оригинальная наблюдательность дадут новый колорит Вашим запискам. Но давайте полную свободу шутке, простор болтовне даже в серьезных предметах и, ради бога, избегайте определений или важничанья. Под лучами Вашего юмора китайцы, японцы, тилиаки, наши матросы — все заблещет ново, тепло и занимательно. Пишите так, как пишете к Старика и ко мне. Даже не худо, если бы Вы воображали нас постоянно перед собой. Абандон, полная свобода — вот что будут читать и поглощать. А ргорос, чтобы не забыть. Я сказал Краевскому, что получил от Вас письмо, и он, не дав мне договорить, спросил быстро: а что же, прийдет ли он что-нибудь в Отеч. Записки? — Ничего не пишет об этом, был мой ответ. — Так попросите его пожалуйста от меня! Заключил он. Передаю Вам с математической точностью слова и ничего к этой просьбе не прибавлю. Вы сами знаете, как полезно поместить что-нибудь в журнале, но советую также дать в то же время статью и в Современник: эти два журнала обеспечивают репутацию Ваших записок: но что хуже записок Лакьера, а и то были замечены единственно тем, что появились в этих журналах. Прежде всего, конечно, Вам следует послать в Морской Сборник, и не одну статью, даже все морские, касающиеся плавания, а сухопутными можете располагать по произволу: так тогда и великий князь разрешил. Вы можете через Морское Министерство адресовать статьи в журналы на мое имя, а я стану наблюдать за их печатаньем и, пожалуй, копить деньги. Назначьте и цену: не знаю, дадут ли Вам поболее 60 рублей, а впрочем напишите, что Вы хотите.

¹ Означенное письмо адресовано Гончаровым Ив. Ив. Льховскому во время кругосветного плавания этого последнего (1859—1860 гг.) на корвете «Рында», который плыл по следам «Паллады». Англия—Мыс Доброй Надежды—Сингапур—Япония и т. д. Приводим здесь только часть письма, содержащую советы Гончарова, как вести путевые записки. В этих советах отражаются те взгляды Гончарова на литературный жанр путешествий, которые отразились в его очерках.